

18+ Валерий Георгиевич Анишкин

Моя шамбала

Человек в мире измененного сознания



Валерий Анишкин

**Моя шамбала. Человек
в мире измененного сознания**

«Издательские решения»

Анишкин В. Г.

Моя шамбала. Человек в мире измененного сознания /
В. Г. Анишкин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-746398-4

В этой книге автор рассказывает о жизни небольшого провинциального городка в первый мирный год после войны 1941—45 гг. В центре событий подросток, наделенный необычными паранормальными способностями, даром, который может принести его семье неприятности, но позволяет помочь в расследовании преступления. Читатель также познакомится с таким незаурядным явлением прошлого века, как Вольф Мессинг, мастер психологического опыта и ясновидец.

ISBN 978-5-44-746398-4

© Анишкин В. Г.
© Издательские решения

Содержание

Из переписки с рецензентом	6
О повести «Моя Шамбала»	7
Вместо предисловия	9
Часть I. «Колдун»	10
Глава 1 Сквер героев. Площадь. Блатной Леха. Наказание за глупость. Улица	10
Глава 2 Застолье. Женщины вспоминают войну. Мужчины вспоминают героические будни войны	15
Глава 3 Оля. Бабушка Маня. Отец и «Вера»	19
Глава 4 «Цара». Я показываю «фокусы». Огород за два миллиона. Славка Песенка. Ти – Ти. Душевный разговор	21
Глава 5 Горбун Боря. Немец Густав и подпольщики. Помещик Никольский. Борино убежище	26
Глава 6 Шаман. Похождение души. Камлание. Отец и бабушка о бессмертии души	29
Глава 7 Отец и Леха. Пустырь. Метатель молота Алексеев. Ванька Коза. Рассказ о Ваське Графе. Леху увозит «черный ворон»	32
Глава 8 Прокурорские дочери. В лес за порохом. Землянка. Гильза с предсмертной запиской. Костер. Наказание. Сон	37
Глава 9 Дядя Павел. Встреча. Последствие ранения. Я лечу дядю Павла. Невеста дяди Павла	43
Глава 10 Неожиданный телефонный звонок. У генерала. Больная дочь. Состояние измененного сознания. Генеральский дом. Странная болезнь	52
Глава 11 Скандал в доме дяди Павла и воспоминания о возвращении домой. Переезд бабушки к дяде Павлу	59
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Моя шамбала
Человек в мире измененного сознания
Валерий Георгиевич Анишкин

© Валерий Георгиевич Анишкин, 2020

ISBN 978-5-4474-6398-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Из переписки с рецензентом

Валерий, здравствуйте!

Я очень рад, что так угадал с отзывом и, надеюсь, помог Вам – тем более, что читать «Мою Шамбалу» было удовольствием – поверьте, это можно сказать об очень немногих рукописях.

Сразу должен пояснить: к сожалению, я не могу обещать ничего, кроме хорошей рецензии на книгу и ее передачи в профильную редакцию. В «ЭКСМО» я «внутренний рецензент», то есть, скорее, советчик. Окончательное же решение остается не за мной и даже не за редактором – здесь вступают прежде всего маркетинговые (как ни жаль) соображения. То есть соответствие книги формату, ее попадание в уже существующую серию и т. д.

Тем не менее, зав отделом детской и подростковой литературы совершенно права: «Моя Шамбала» должна заинтересовать редакцию современной литературы. Детские и подростковые книги в «ЭКСМО» устроены, как правило, гораздо проще и, кроме того, ориентированы на современность (или совсем отдаленное прошлое). Мне такой отбор кажется механистическим, за несоответствие пресловутому формату порой отсеиваются замечательные тексты (и издаются гораздо более бедные) – но как есть.

А вот современная «большая» проза, по счастью, понимается шире, там издательство допускает жанровые эксперименты.

Поэтому, если говорить о сюжете «Моей Шамбалы», я могу только повторить свою рецензию: эзотерика совсем не портит книгу. Наоборот: таким образом раскрывается актуальная для литературы последних десятилетий тема «очарованного детства» (в духе Гумилева – «... Колдовской ребенок, словом останавливавший дождь»).

«Моя Шамбала», безусловно, должна заинтересовать «современную» редакцию.

С уважением,

Алексей Обухов

Шеф-редактор в холдинге «Москва Медиа»,

литературный рецензент издательства «Эксмо»

О повести «Моя Шамбала»

В предисловии к книге «Моя Шамбала» литературный критик Алексей Обухов отмечает, что эзотерика не только не портит книгу, но помогает раскрыть «актуальную для литературы последних десятилетий тему «очарованного детства» (в духе Гумилева – «Колдовской ребенок, словом останавливающий дождь»).

На мой взгляд, внесенная в канву книги эзотерика выполняет более важную роль – своего рода громоотвода от военных и послевоенных потрясений России. Детские мечты, стремления, размышления и даже фантастические решения мальчиком драматических человеческих проблем читатель воспринимает как силу бескорыстия, правды и чести, которых явно не хватает обществу.

Пацаны разрушенного, искареженного войной города (почти все – полуголодные, многие – пополнившие миллионную безотцовщину!) гораздо быстрее взрослых вживаются в установившуюся новую жизнь. В романе эта жизнь не песнями звенит, не демонстрациями ударных достижений. Все реально до боли, и до боли правдиво.

Язык героев «Моей Шамбалы» принадлежит не только героям романа, но и языку поколения. В нем и ощущение военного лихолетья, и полуэзоповские рассуждения людей эпохи Сталина.

Особое место в книге отведено юного провидца. На первый взгляд эти ниспадают откуда-то сверху, из неизученных человеком информационных потоков. На самом деле этими предвидениями автор показывает, что даже в юном возрасте люди могли предполагать и другие возможные варианты развития жизни. Но эта тема было как бы под запретом, и об этом старались вслух не говорить. *видениям видения*

В легендарную страну Шамбалу, сторону Истины, нельзя попасть по желанию – туда нужно быть призванным. В эту сказку-мечту, считает автор книги, чаще всего дорога открывается в детстве. И в большинстве случаев ее открывает «правда жизни», т.е. нечто застойно-равнодушное.

Кто преподает Володе уроки Шамбалы? Не школа, не «воспитательный процесс». У него учителя – Лев Толстой и древние философы. Но не только они, рядом отец с полновесной школой жизни, рядом другие люди, прошедшие огонь войны.

Среди строк романа нет надрывных слов, похожих на митинговую речь. Зато писатель не только создает образы, но и как бы рисует их на глазах читателя: «Дядя Павел пришел с фронта год назад, и я впервые увидел его мужчиной, потому что на войну он ушел в семнадцать лет...». И далее: «Дядя Павел стоял, опустив руки и растянув губы в улыбке. Он не знал, как теперь обращаться к отцу... Я помнил, что до войны он называл отца дядей Юрой».

Дело не только в прошедших годах. В. Анишкин разворачивает в романе картину иного взросления: война открыла многое не только в нациях и поколениях; в каждую семью, на каждую улицу она пришла неподкупным судьей.

«Человек в мире измененного сознания» – такой подзаголовок дал В. Анишкин к названию романа. Он очень точно характеризует мысль, суждение, которое проходит лейтмотивом через всю книгу: воля и совесть в человеке не преобразуются какими-то усилиями со стороны – их воспитывает в себе человек сам и проверяет жизнью.

И еще одно важное замечание: книга В. Анишкина – художественное произведение, несущее в себе живую историю жизни. В романе нет «пожелтевших старых фотографий», но как реалистично открываются в нем страницы прошлого, люди и общество прошлых лет! Я бы сказал, что в романе присутствует достаточно убедительно то, что можно назвать «психологическим пейзажем» – картина мыслей, переживаний, чувств.

Можно только удивляться и поражаться – как автор смог соединить в житии выросшего в войну поколения простоту истины и неожиданности человеческого разума. Все герои у В. Анишкина – живые, язык звучит по тем нотам, которые разыгрывала тогда судьба с миллионами героев войны и их детей.

Трудно рецензировать хорошие вещи – не находишь нужных слов. Но как хочется, чтобы таких книг у нас в России было больше.

Хорошая получилась книга.

*В. Самарин,
член Союза российских писателей*

Вместо предисловия

В этой книге ничего не выдумано. Даже имена и фамилии героев я счел возможным не менять. Исключение составили только те действующие лица, которые могли бы негативно воспринять упоминание своего имени в художественном произведении в том свободном изложении, которое является результатом воли и фантазии автора или ввиду непривлекательности образа.

В отдельных случаях я сместил время, в которое происходили те или иные события, приблизив их к эпицентру всего действия.

Я не ставил своей целью документально точно воспроизвести детали происходящих в моем городе событий, поэтому, во избежание упреков, я не называю город, в котором происходит действие. Но у меня не поднялась рука изменить названия всех других достопримечательностей, и они узнаваемы.

Все остальное – реальные факты, включая встречу с Вольфом Мессингом.

Впрочем, вся наша жизнь состоит из коллизий, а вокруг иногда происходят такие диковинные вещи, что мы часто более склонны поверить самому изощренному фантастическому литературному сюжету, чем иной правдивой жизненной истории.

Mentem mortalia tanqunt.

Вергилий, «Энеида»

Часть I. «Колдун»

Глава 1 Сквер героев. Площадь. Блатной Леха. Наказание за глупость. Улица

– Давай рысью! – отрывисто скомандовал Монгол, – и мы побежали. Мы как собаки, ходить не умели. У нас все было рысью. Длинноногий Мишка Монгол бежал как иноходец, широко переставляя ноги, и мы изо всех сил старались не отставать. Младшие едва поспевали за нами.

Мы завернули за угол и побежали по улице, где жили «хорики». Это была их территория. «Хорики» играли в «цару». Когда мы пробежали мимо, они подняли головы от земли. Венька Хорьков, уже вслед, крикнул:

– Монгол, куда бежите?

Мы не ответили и вскоре услышали за собой пыхтение и топот.

Куда, говорю, бежите-то? – повторил Венька на ходу. —

– На площадь, – сплевывая сквозь зубы, деловито бросил Пахом.

– А что там? – не отставал Венька.

– Не знаем! – ответил Мишка Монгол.

– Брешешь! – не поверили «хорики» и побежали за нами по Московской улице.

Люди шагали по дороге как по тротуару. Дребезжа стеклами и сотрясая воздух пронзительной трелью педального звонка, прогромыхал фанерный трамвай. Неуклюже подпрыгивая на неровностях каменной мостовой, тархтел редкий грузовик. И хотя слышен он был «за версту», шофер часто сигналил, заставляя озираться тротуарного пешехода.

Мы пробежали мимо пятиэтажки, на пожарной каланче которой трепетал на ветру красный флаг, водруженный в честь освобождения города. Перебежав улицу, мы оказались в сквере Героев, где невольно замедлили шаг.

– Миш, – спросил я у Монгола. – Ты видел, как снимали повешенных?

– А то! – ответил Монгол.

– А где они висели?

– Вон там. Видишь тополя с суками? И вон на тех липах.

– Не, Монгол, – вмешался Венька Хорик. – На липах никого не было.

Мишка обиженно засопел, чуть помолчал и презрительно бросил:

– А ты видел?

– Видел, не беспокойся. Я видел и танк, который первым ворвался в город. А возле моста его подбили...

Возле танка мы притихли. Свежевыкрашенный зеленой краской, танк стоял на земляной насыпи с небольшим наклоном, и ствол его пушки непокорно задрался вверх.

На сетчатой ограде, тоже покрашенной в зеленый цвет, висела фанерная табличка с надписью:

«Вечная память героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины».

– Весь экипаж сгорел в танке, никто не спасся, – сказал Венька.

– Может быть, они были раненые? – предположил Сеня Письман.

– Нет, – убежденно ответил Венька. – Они не захотели сдаваться. Они решили, что лучше погибнуть, чем сдать.

От танка тянулся длинный, на полсквера, холм братской могилы. По могиле рассыпались цветы: красные бутоны тюльпанов и едва распустившиеся ветки сирени.

– Вень, это правда, что там, где сейчас могила, был ров и что расстрелянных сбрасывали туда? – спросил я.

– А то нет! Их самих заставили копать ров и расстреляли. А потом сталкивали, тех, кто остался на краю, а тех, кто был еще жив, добивали или сбрасывали прямо живыми.

– Это ты откуда знаешь? – недоверчиво спросил Самуил Ваткин.

– Оттуда, – огрызнулся Венька. – Когда наши пришли, стали вытаскивать трупы, чтобы родственники опознали, и нашли двух живых. Один потом умер, а другой и сейчас жив. А потом уже мертвых похоронили как следует и сделали братскую могилу.

– Фашисты! – с ненавистью проговорил Пахом.

Мы бежали по деревянному мосту, возведенному саперами на месте чугунного, взорванного немцами при отступлении.

Сразу за мостом, по правую и по левую стороны, тянулись старые, двухвековой давности, торговые ряды. Каменные двухэтажные строения имели множество арок с декоративными колоннами и коридорным переходом по всей длине. Штукатурка, изорванная пулями, во многих местах отвалилась, и обшарпанные здания мрачно смотрели друг на друга. За рядами, на стрелке, образованной слиянием двух рек, вместились церковь Михаила Архангела с двумя голубыми куполами и позолоченными крестами.

Здесь почти четыре века назад указом Ивана IV основана была крепость, прикрывавшая южную границу Русского государства от набегов татар, от которой и пошел наш город.

От рядов, огибая здание театра, тараканьими усами расходились две большие улицы. От театра осталась одна коробка с пустыми глазницами окон. Но это был театр, существовал он уже 135 лет и начинался с труппы крепостных графа Каменского.

На площади играл духовой оркестр, заглушая черные колокольчики громкоговорителей, через которые в паузы врываются бравурные звуки маршей. Люди танцевали. Чтобы лучше видеть, мы, цепляясь за покореженные металлические рельсы опор и выступы в кирпичных стенах, влезли на второй этаж развалин и высунулись в оконные проемы дома напротив театра.

Море голов волновалось, затопляя площадь. Куда-то делись «хорики».

– Нашли что-нибудь поинтереснее и тихо смылись, – решил Монгол и скомандовал: – Айда в горсад!

Просачиваясь сквозь толпу, переключаясь, чтоб не потеряться, мы вышли к деревянному мосту через Орлик и побежали к горсаду.

В горсаду кроме качелей, каруселей, танцплощадки, да открытой эстрады, на которой под баян пела толстая тетка, ничего не было, но народ шел сюда со всего города и здесь гулял до ночи, пока закрывалась танцплощадка.

Мы вышли на центральную аллею и наткнулись на моего дядьку, блатного Леху. Леха был навеселе. Из-под кепочки-московки с козырьком в полтора пальца рябиновой гроздь горел рыжий чуб в мелких завитках. Чуб Лехе накрутила тетя Люся, мать Сени Письмана. Леха был ее первым и последним бесплатным клиентом. На нем тетя Люся пробовала «состав». Никто из соседей не соглашался сесть под примус с паровым бачком, а Леха сел. Проба оказалась удачной, и тетя Нина, наша соседка, которую тетя Люся не смогла уговорить на бесплатную пробу, потом все сокрушалась, что не согласилась на завивку. В зубах Лехи дергалась дорогая папироса «Дюшес» с коротко откусанным мундштуком. Папироса перелетала из одного уголка рта в другой, а то повисала, приклеенная к нижней губе, и тогда во рту Лехи солнечно блестя начищенная золотая коронка. Брюки темно-коричневого костюма, заправленные в хромовые сапоги, свисали над низко опущенной гармошкой голенищ. Руки Леха держал в карманах пиджака, натягивая пиджак так, что тощий зад его выпирал футбольным мячиком, и Леха катал его из стороны в сторону, когда семенил своей мелкой блатной походочкой. Мы было шмыгнули в кусты, но он нас остановил:

– Куда, шкеты? Ну-ка, хромайте сюда!

Мы неохотно подошли,

– Монгол, куда ведешь шкетов? – спросил он Мишку.

– Дак ить, день-то. Победа, гуляем. А что, нельзя? – забубнил Мишка.

– Чтобы гулять, марки нужны. У вас марки есть? – строго спросил Леха.

– Нету, – ответил за всех Витька Михеев.

– Ладно, фраера, пошли за мной, – решил Леха. – Знайте Леху. Когда Леха добрый, он угощает. А сегодня я добрый.

Леха остановился у пивного ларька, вытащил из кармана пиджака несколько тридцаток и одну протянул Мишке.

– Ну-ка, Монгол, сообрази пивка на всех. Мишка взял деньги и побрел в хвост очереди.

– Ты что, кишкинка, – вернул его Леха. – Ну-ка, давай сюда.

Он взял Мишку за плечи и, работая как тараном, стал проталкивать без очереди к раздаче. На Лёху обрушился шквал негодующих голосов, но он, кривляясь и балагурия, лез вперед.

– Что, папаша, не видишь, беременная женщина пить хочет. Граждане, пропустите женщину с ребенком... Да дай пройти больному, а то щас с ним припадок будет... А ты, фраер, тихо, жить надоело?

Минут через десять Леха с Мишкой вылезли из очереди с пивом, которое держали в двух руках. Лёха показал на беседку над обрывистым берегом. В беседке оказалось полно народу, и мы стали спускаться ниже к покореженному «Тигру».

Этот «Тигр» мы облазим вдоль и поперек и отвинтили все, что можно было отвинтить и унесли все, что можно было унести, а что не успели мы, унесли «монастырские». В прошлом году «монастырскому» пацану Кольке Серому люком перебило кисть. Зрелище было не для нервных, кровь лилась ручьем из рассеченной раны. Колька весь перемазался кровью. Штаны и синяя рубаха покрылись черными мокрыми подтеками. Ребята разодрали Колькину рубаху на полосы и замотали руку. Тряпка тут же набухла и превратилась в темное месиво, похожее на лежалое мясо.

– Вовец, – позвал Самуил, – помоги.

Я оттолкнул ребят и перетянул руку в предплечья. Я мог это делать. Но я мог и другое. Я снял окровавленные тряпки и наложил руки на рану, не касаясь ее. Я сосредоточился на своих руках, и когда почувствовал, что кисти рук наливаются теплом, а кончики пальцев начинает покалывать как от комнатной воды, в которую опускаешь ооченевшие на морозе руки, стал водить руками над раной, импульсами посылая живительную силу, которая жила во мне.

Кровь стала свертываться и скоро только чуть сочилась из раны. Остатками рубахи мы перевязали Колькину руку и отвели в больницу.

Я не знаю, откуда это у меня. Мать говорит, что это появилось после того, как меня маленького зашибла лошадь, и я лежал без сознания и был при смерти. Я этого не помню. Мне кажется, я всегда обладал способностью снять чужую боль, заживить рану, погрузить человека в сон.

А еще я умел отключать свое сознание и тогда видел странные вещи, которые происходили где-то не в моем мире. Вдруг появлялись и начинали мелькать замысловатые рисунки и знаки, которые я воспринимал, но не мог понять и объяснить. Я видел диковинное. И сны я видел яркие и тоже очень странные. Бабушка Василина, когда мы ездили к ней в деревню, говорила, что сны мои вещие, только не всем их дано разгадать. Отец на это хмурился, но бабушку не разубеждал.

Мы держали в руках по кружке пива. Я пива раньше не пил и даже не пробовал, но знал, что оно горькое и уже ощущал во рту вкус этой горечи. Для меня было очень важно составить верное вкусовое представление, прежде чем я попробую что-то мне незнакомое, и если это представление не совпадало с его настоящим вкусом, я не мог это есть. Так было со мной, когда я впервые попробовал коржик. Коржик в моем представлении должен был иметь вкус чего-то

очень пряного, гвоздичного и поперченного, то есть должен пробираться до слез, как хорошая горчица или хрен. И когда я увидел, что это просто выпеченное тесто со вкусом сдобного печенья, я не смог проглотить ни кусочка, мой организм протестовал, и в нем не нашлось механизма, способного примирить это ожидаемое и действительное. То же произошло с пастилой. Я ожидал что-то вроде повидла с чуть кисловатым вкусом, а это оказались белые приторно сладкие брусочки, которые нужно жевать, и они ватой заполняли рот. С тех пор я никогда не ел пастилу.

Леха достал из кармана початую бутылку белоголовки, вынул зубами газетную пробку, хлебнул из горла, весь передернулся, заведя глаза так, что сверкнули белки, нюхнул рукав и, протянув Мишке Монголу бутылку, отхлебнул из кружки пиво. Монгол взял бутылку, смело сделал глоток, тут же поперхнулся, и его вырвало.

– Ты что, падла, добро переводишь? – Леха вырвал из Мишкиных рук бутылку и отвесил ему шелобан. – Ну-ка, Мотя, – повернулся он к Витьке Михееву. – Покажи, как надо пить.

Витька осилил два глотка и изо всех сил держался, чтобы не показать отвращения, но рот его невольно перекосялся, а глаза покраснели и налились слезами. Младший брат Витьки, Володька, испуганно смотрел на Витьку. Вместе братьев звали Михеями, а по отдельности Витька Мотя и Володька Мотя, потому что мать их звали Мотей, и женщины на улице говорили о них: «Мотины дети».

Я цедил горькое пиво сквозь зубы. На душе у меня было беспокойно, и дрожали руки, оттого что я участвую в чем-то постыдном. Пиво не уменьшалось, я косил глазами по сторонам и ждал удобного случая, чтобы выплеснуть желтую жижу в кусты.

Ванька Пахом глотнул из бутылки и, не поморщившись, набрав в легкие воздух, залпом выпил кружку пива.

– Во, кореш дает, – с восторгом хлопнул себя по ляжкам Леха, возводя Пахома в герои. – Молоток. На-ка, закури.

Пахом затянулся, закашлялся, но папиросу не бросил.

– Лёха, Плесневый! – раздался голос сверху.

У беседки стояли два парня в таких же как у Лехи кепочках-московках.

– Ты чего там детский сад развел? Канай сюда.

– Уму учу, – осклабился в радостной улыбке Леха и полез наверх. По дороге он обернулся и пригрозил мне.

– Скажешь матери, шкет, убью. Не посмотрю, что колдун!

Пахома развезло. Сначала они с Витькой Мотей словно взбесились – кривлялись и хохотали. Потом стали колотить палками по танку и устроили такой грохот, что кто-то высунулся из беседки и крикнул:

– Ну-ка, пацаны, кончай бузить!

– Иди ты, дядя, пока цел, – зло огрызнулся Пахом.

– Ах ты, сопляк, – разъярился усатый дядька с медалями на гимнастерке. – Я сейчас покажу тебе «пока цел». Он отдал кружку с пивом своему товарищу и легко перемахнул через перила беседки. Мы, не сговариваясь, бросились к речке. Пахом упал и пропахал носом землю. Мы с Мишкой подхватили его под руки и потащили к плотине. У плотины остановились, чтобы перевести дух. За нами никто не гнался. Все тяжело дышали. Пахом был бледен. Стесанный подбородок кровоточил, губа раздулась, а под носом запеклась кровь. Ему стало плохо. Мы перешли через плотину на свой берег и расположились на любимом месте под ремесленным училищем.

– Пахом, давай раздевайся, – приказал Монгол.

– Зачем? – Пахом еле шевелил губами.

– Окунешься – станет легче.

– Вода холодная, – жалобно протянул Пахом, стягивая все же с себя рубашку. Монгол с одной стороны, я – с другой повели Ваньку к воде; у самой воды его вырвало. Витька Мотя, который тоже стал раздеваться, увидев, как дергается в спазмах Ванька Пахом, быстро пригнулся к кустам.

Пахом с Витькой после купания сидели синие и клацали зубами.

– Матери не го-о-ворите! – выбил дробью Пахом. – Вы-ы-дерет?

– А зачем пили? – жестко заметил Монгол.

– А с-сам не пил? – огрызнулся Ванька.

– А я нарочно, выпил и выbleвал. А ты, Пахом, из подхалимства и водку, и пиво вылакал.

Во, мол, какой я ушлый.

Пахом только вздохнул и ничего не ответил.

Домой мы шли злые, голодные и недовольные собой.

Ремесленники, квартировавшие у Михеевых, устроили возле дома «матаню». Белобрысый, веснушчатый Колька в черной, уже много раз стиранной, и от того с белыми отсветами, рубахе, затянутой ремнем со стальной бляхой и выбитыми на ней буквами «РУ», лихо наяривал на двухрядной гармошке барыню; лицо его, как и положено гармонисту, было непроницаемо серьезно и безразлично, будто все, что здесь происходит, его не касается. А вокруг мелкой дробью выстукивали каблуки.

Повела домой дядю Колю из двадцатого дома его дочка Раиса, толстая перезрелая девица. Ноги дядю Колю плохо слушались, его заводило в сторону, и Раиса с трудом выравнивала отца и молча тащила к дому.

Куражился Гришка. Он, по пьяному обыкновению, устрашающе рычал, скрипел зубами и рвал на себе рубаху. Когда Гришка стал бегать за малыми ребятишками и пугать их, тетя Клава, Пахомова мать, пошла к его жене Наде и сказала:

– Надь, уйми своего дурака? А то я уйму.

Гришка жены боялся и, когда она вышла и поставила руки в боки, он сжался весь, затих, и она погнала его, смиренного, домой.

Весна стояла славная. Теплая земля покрылась светлой зеленью, последние набухшие почки лопались, выстреливая нежными маслянистыми листочками, и деревья, затянутые зеленой вуалью, радовали глаз.

На скамейках у ворот сидели старушки, обратив к солнцу усохшие лица, на которых застыли безмятежность и покойное умиротворение. У ног их ссорились малыши. Кошки, развалясь на подоконниках, лениво щурили глаза.

Глава 2 Застолье. Женщины вспоминают войну. Мужчины вспоминают героические будни войны

– Где тебя носит? – беззлобно встретила меня мать. – Небось, есть хочешь? Знамо дело, как с утра ушел, так на целый день. Где шатался? Звала, звала. Куда-то, говорят, с Монголом побежали.

– В футбол играли на пустыре, – беззаботно соврал я.

– В следующий раз уйдешь без спросу, отцу пожалуюсь, что меня не слушаешь. Это что сегодня день такой, праздник. Иди, поздоровайся с гостями... Куда? Руки помои.

В зале стоял гомон. За столом сидели бабушка Маня, дядя Павел, Николай Павлович с отцовской работы с тетей Верой, Мария Николаевна, с которой мы жили в эвакуации, и соседки: мамина подруга тетя Нина и Туболиха. Вкусно пахло картошкой, луком и салом.

– А, Вовка, – обрадовалась Мария Николаевна. – Вон какой большой стал, уж с мать будешь. А кто тебе так лоб поцарапал? Дрался что ли?

– Да это так, – отмахнулся я, жадно оглядывая стол.

– А меня опять замучили ноги. Болят окаянные. Ты как-нибудь с мамой зашел бы. А, Вов?

– Ладно, баб Мань, – согласился я. – Вы матери скажите.

– Скажу, скажу, – закивала Мария Николаевна.

Посреди стола стояла чугунная сковорода с целой картошкой в салу со шкварками. Из миски выглядывали ровные соленые огурцы и гладкие, распертые газом помидоры. Мать доставала огурцы и, тем более помидоры, последний месяц скупно: засолка кончалась и нужно было протянуть как-то до нового урожая.

Мать пристроила меня возле Марии Николаевны.

– Что же ты его на угол сажаешь? Не женится, – пошутила тетя Нина. – А мы его от угла поближе ко мне. У меня кавалера нет, так он мне за кавалера будет. Хочешь быть моим кавалером, а, Вов? – весело сказала тетя Нина,

– Не хочу, – буркнул я.

– Ишь, какой злой, – засмеялась тетя Нина.

– Тебе картошку разогреть? – опросила мать. – А то сало застыло.

– Не надо, я так буду.

И я с жадностью накинулся на картошку с солеными помидорами. Мать принесла мне аккуратный ломтик хлеба.

– Завтра возьмешь карточки и пораньше займешь очередь за хлебом, – приказала мать.

– Вов, помнишь, в эвакуации у нас заяц ручной был? – спросила Мария Николаевна. – Такой был понятливый.

– Ой, тетя Маня, никогда не забуду, – живо откликнулась мать. – Бывало, мы за стол, и он на табуретку – прыг. Мы и ждем, что будет дальше. Сами едим, а ему не даем. Так он как начнет лапами по столу колотить, как барабанщик, да быстро так – есть просит.

Я зайца помнил. Его поймал в огороде конюх Игнатич, добрый старик в драной шапке-ушанке и фуфайке, с неухоженной бородой, к которой всегда прилипали крошки махорки, и принес мне. Заяц кто-то перебил лапу, и он с трудом передвигался, совершая редкие, неуклюжие прыжки, очевидно, доставлявшие ему боль. Заяца мы выходили, Я помню, как я, тогда еще бессознательно, держал руки над раной зайца, а он особым чутьем животного ощущал исцеляющую силу, исходящую от моих рук, и доверчиво подставлял мне больную лапу.

Заяц к нам быстро привык и стал совсем ручным, Потом он облюбывал место в закутке, где стояла корова Марии Николаевны, подружился с ней и шастал по закутку, совершенно

не опасаясь ее копыт, и, конечно, корова однажды наступила на него. Я ревел, меня утешали, а потом тот же конюх Игнатъич сделал из моего зайца чучело, которое мы поставили на комод.

– Жалко было зайца. Мы к нему так привыкли. А как Вовка по нему убивался. Больно было глядеть.

Мария Николаевна сочувственно покачала головой, а я недовольно насупил. Зачем при людях такое?

– Тетя Мань, а помнишь, как ты плясала под Рождество? – вспомнила мать. Лицо ее оживилось, и она сразу помолодела, словно сошла с той фотокарточки, где была шестнадцатилетней, и которую я так любил.

– Ой, Нин, – глаза матери озорно блеснули. – Ты б посмотрела. Игнатъич играет на рожке, а тетя Маня встает, а ноги-то, как тумбы. Ее и тогда ревматизм мучил, еле ходила, помню, всё сырую картошку ела. А здесь разошлась и как медведь: топ-топ, топ-топ, то одной ногой, то другой, да еще платочком взмахнет туда-сюда, туда-сюда. Мы с Вовкой так и покатались от смеха.

– На то и праздник. Надо ж вас было развеселить. Сидят, носы повесили, вот-вот разревутся, – с неловкой улыбкой, словно оправдываясь, сказала Мария Николаевна.

– Хорошо жили! – похвалилась мать, – Голодно, тяжело, иной раз свет не мил, хоть волком вой, а тетя Маня, бывало, подойдет:

– Э, ты что это, милая? Наши вон как фашистов бьют, уже к границе гонят, скоро мужики наши вернуться. Заживем еще. Ну-ка, гляди веселей! – Где шуткой, где отругает, глядишь, – и правда легче.

– Да уж теперь вы мне все равно что родные, – подтвердила Мария Николаевна. – Вместе и горе, и радость делили. Как я за тебя радовалась, когда от Юрия Тимофеевича весть пришла. Перед иконой Бога благодарила, а вроде и не верующая. И то, надо сказать, почти полгода ни слуху, ни духу. Извелась вся, как щепочка стала. И Вовка уже большой, все понимает, переживает, ластится к матери, серьезный как старичок, хмурится все, не улыбнется. А потом нас удивил. «Мам, – говорит, – папа жив. Он в госпитале». Мы к нему: «Откуда ты знаешь?» «Я его видел. Больницу видел. Люди в белом». «Во сне видел?» «Нет, – говорит, – не во сне». Ну, ладно, думаем, ребенок. Чего не придумает. Видит, как мать переживает, мерещится ему что-то. Потом, смотрим, уведомление пришло, что ваш муж, мол, такой-то и такой-то получил сильную контузию и находился на излечении в Тегеране, в госпитале для Советского контингента войск. В настоящее время проходит лечение в Ашхабаде.

Чудно твоё дело, Господи. А тут как-то Шура брюкву резала, да ножом руку полосонула. Кровь хлестанула, видно, вену задела. Я перепугалась, не знаю, что делать. Подходит Вовка. Не испугался, ничего. Взял материну руку, ладошку подержал над порезом. Кровь остановилась и даже не сочится. Вроде даже и подсыхать стала. Я стою, словно аршин проглотила, и Шура глазам своим не верит, Я опомнилась, перевязала рану. На следующий день повязку сняли, а там уже корочка образовалась. Вовка опять поводит рукой над раной. И больше уже не завязывали. Через день корочка отвалилась, и все зажило прямо на глазах. Тут мы и зайца вспомнили. Вовка ж его и вылечил. Дальше – больше. Ревматизм донимает, ни днем, ни ночью покоя не нахожу. Вовка минут пять поводит руками, чую, боль проходит. А на следующий день и опухоль стала спадать. Господи, на кого молиться? То ли на Николу Угодника, то ли на Вовку, прости ты меня, Господи.

А в аккурат перед самым приездом Юрия Тимофеевича Вовка и говорит: «Мам, папа к нам «летит». Да ладно бы это. А то назавтра пролетел над нами самолет. Вовка выскочил, раздетый, да как закричит: «Папа, папа!» Сам дрожит, и слезы из глаз катятся. А мы уж и верим.

Глядь, назавтра Юрий Тимофеевич заявляется. И точно, этим самолетом летел.

– С чего ж это у него вдруг взялось? – спросила тетя Вера.

– Кто знает? – пожала плечами мать. – Может после того случая, как его лошадь копытом стукнула... Они с ребятами игру затеяли, кто не испугается под брюхом лошади пролезть. И лошадь-то смиренная была. Все пролезли. А его наподдала. Что-то ей не понравилось. Стукнула-то копытом в бок, да он об камень головой ударился. Притащили без сознания. Кровь льет. Спасибо в детдоме, где я работала, врачаха была. Перевязала, уложила в постель, укол сделала какой-то. Три дня бредил, то придет в сознание, то снова забудется... А потом вроде ничего, быстро так поправился. А только, видно, что-то в голове переменялось.

И мать заплакала. Женщины слушали внимательно, переживали, сочувственно качали головами, и время от времени поглядывали на меня, будто впервые видели. Я уткнулся в тарелку и делал вид, что занят едой, и этот разговор меня не касается.

– Да, жили дружно, – вернулась к своему главному Мария Николаевна. – А как же было иначе? Нужно было держаться друг за друга. Кругом разлад, да слезы. Все так. Чай, русские.

– Не скажи, Марь Николаевна, – отозвалась Туболиха. – Вы в эвакуации далеко были, многого не знаете, а мы под немцем насмотрелись на некоторых русских. В полицаи шли, на брюхе перед немцем ползали.

– Это те, кому Советская власть всегда поперек горла стояла, – возразила Мария Николаевна.

– А что плохого сделала Советская власть Симке Рыжовой? В школе бесплатно учила, в техникум дорогу открыла, а до Советской власти батька в батраках служил, и ей бы гнуть до скончания века спину на помещика. И батька, между прочим, в гражданскую за Советскую власть голову положил. А она с немцами открыто гуляла, с первого дня на машинах по городу разъезжала.

– А меня с ней в комсомол вместе принимали, – сказала тетя Нина.

– Ну, в семье не без урода. Всякие люди, конечно, и среди нас есть.

И в войну, кто горе мыкал, а кто на слезах наживался. Вон Шурка часы золотые, подарок мужа, за килограмм масла и за буханку хлеба отдала, когда Вовка болел. Тех я в расчет не беру. Бог им судья. Да и не верю я, что таких много. Просто они как бельмо на глазу, их в первую очередь и видно.

После еды меня стал одолевать сон, глаза слипались. С женщинами было скучно, и я начал прислушиваться, о чем говорят мужчины, а говорили они про войну. Я подсел поближе к отцу. Отец обнял меня за плечи и притянул к себе.

– Правильно, племяш, иди к мужикам. Что там с женщинами сидеть? – одобрил дядя Павел.

– Ну, что там про орден-то? – напомнил он Николаю Павловичу. Николай Павлович потер пальцем орден Красной звезды и стал рассказывать:

– Мы тогда входили в состав 257 отдельной смешанной авиадивизии, в седьмую отдельную армию. Я служил в полковой разведке. А мы только что освободили Демидовку, на реке Свирь. Речка находилась неподалеку от штаба. А жара стояла невыносимая. Июнь же месяц. Ну, пошел я искупаться, простирнуть белье, то да се. Сполоснул гимнастерку, пошел к кустам, повесить хотел, гладь, – в кустах солдат спит. Я его окликнул. Он как-то быстро вскочил и, вижу, чего-то испугался. Как-то необычно для солдата. Думаю, надо проверить. Доставил его, голубчика, в отдел контрразведки. На допросе он и раскололся. Назвался Никитиным, был на фронте, воевал, попал в плен, в плену его и обработали. Определили в разведшколу, обучили и как агента оставили на освобожденной территории для сбора сведений о местах дислокации, видах самолетов и численности авиачасти... За это орден и получил.

– У нас тоже ловили, – подтвердил дядя Павел. – Одного сам начальник разведки поймал. Капитан Фомин такой был. Это уже в Германии. Шел в комендатуру и видит: женщина везет на ручной тележке барахло всякое, а ей помогает молодой немец. У Фомина сразу подозрение: почему, мол, не на фронте? Задержал. При обыске нашли топографическую карту с непонят-

ными пометками. Шнайдером звали. Долго не признавался, что он агент, а потом все рассказал и выдал еще двух человек. Оба немцы. Обоих взяли. У одного была рация. Так Фомину тогда тоже Красную звезду дали.

Глава 3 Оля. Бабушка Маня. Отец и «Вера»

– Иди, мой ноги и ложись в бабушкиной комнате, – донеслось до меня. Я с трудом разлепил глаза и пошел на кухню, за которой находилась комната. В бабушкиной комнате, больше похожей на чулан с маленьким окошечком где-то под самым потолком, умещались как раз две кровати, которые стояли по обеим сторонам двери. Бабушка Маня спала с дочкой, моей теткой, которая была лишь на год старше меня, на высокой железной кровати с блестящими шарами на спинках. Спали они на двух перинах, и когда ложились, проваливались в перины так, что я с моей по-солдатски тощей кровати видел одни их носы.

Я перешел в бабушкину комнату, когда Леха ушел в общежитие, которое ему предоставила кондитерская фабрика, куда его устроил отец. Но с некоторых пор мне стали опять стелить на диване в общей комнате, которую мать называла залом, что вызывало у меня протест. Тесная комната четырех метров в длину и трех в ширину, всегда темная от разросшихся кустов неужоженной сирени в палисаднике за окном, не соответствовала моим представлениям о залах.

Мать мне объяснила, что Оля уже девочка большая и меня стесняется, и вообще нехорошо большому мальчику спать в одной комнате с девочкой. После этого я стал приглядываться к Ольке, ничего особенного не заметил, но Олька пожаловалась матери, что я подглядываю за ней. Мать мне выговаривала, а я стоял красный от стыда и чуть не плакал.

Бабушка Маня приехала к нам из-под Смоленска с одиннадцатилетней дочкой Олей и четырнадцатилетним сыном Леней вскоре после нашего возвращения из эвакуации в город. Мать почему-то об этом говорила: «Юра выписал мать из деревни». Я не понимал, как это «выписал», но слово это связалось у меня со словом «спас», спас от голода.

Мать над письмами из деревни плакала, а отец, читая, хмурился и успокаивал мать. Бабушка писала, что зиму она с двумя детьми не переживет. У Оли истощение, у Лени малокровие, а у самой ноги опухают, и она больше лежит и в колхозе работать не может. Коровы у них нет, одна коза, которую тоже нечем кормить.

Мать часто и долго говорили с отцом о бабушке, и отец, в конце концов, предложил взять ее с детьми к себе. Мать колебалась. За отцом нужен был хороший уход, потому что с войны он вернулся совершенно больным, и с ним часто случались припадки, после которых он долго не мог оправиться. Я пытался лечить отца, но болезнь плохо поддавалась и все, что я пока мог, это унять боль во время приступа.

– Может быть, ей лучше пока помогать? – нерешительно предложила мать.

– Чем? – усмехнулся отец. – С продуктами сама знаешь как. А деньги! Сколько мы можем послать? Триста рублей? А что на них сейчас купишь?.. Нет, надо выписывать. Вместе как-нибудь проживем.

Приехала бабушка к зиме. Уже установились прочные холода, и хотя снега еще не было, «белые мухи» кружили, а за ними вот-вот налетит метель, закружит и завалит все снегом.

Бабушку никто не встречал. Она приехала как-то вдруг, и я увидел ее, уже стоящую среди узлов, с детьми по обе руки.

Девочка, укутанная в клетчатый платок, перевязанный крест-накрест, сама была похожа на узел. Из оставленной в платке щели выглядывали синие глаза с рыжими ресницами. Серое заплатанное пальто почти закрывало ноги, и из-под пальто торчали лишь круглые мячики подшитых валенок. На руках у девочки были новые пушистые варежки из черной козьей шерсти.

Мальчишка был в фуфайке защитного цвета с подвернутыми рукавами, в не по возрасту больших, но добротных ботинках со скобками вверху для шнурков. Штаны болтались на шиколотках. Фуфайку стягивал кожаный офицерский ремень с латунной пряжкой, а на голове сидела набекрень солдатская шапка-ушанка со звездой на отвороте. Мальчишка бойко «стрелял» по сторонам глазами.

Среди узлов барином стоял черный, словно прокопченный, сундук, перетянутый кованым железом.

Для бабушки с детьми приспособили темную комнату, служившую раньше чуланом. Чулан побелили, покрасили полы. У соседей нашлась еще одна, старая кровать, которую отец починил и поставил в комнату.

Бабушка Маня оказалась сухонькой, проворной, не очень старой и смешной. Голова, похожая на свеколку, кончалась на макушке собранными в пучок волосами, скрепленными гребешком. Она никогда не ругалась «чертом», но всегда поминала его и винила во всех своих грехах. Если разбивала чашку или роняла вилку, то виноват был он: «Ишь, вот нечистая сила, из рук выбивает. Господи, прости мя грешную, и аз воздам».

В своей комнате в изголовье кровати она сразу повесила иконы: дорогую «Казанской божьей матери» в серебряном окладе, небольшую «Никола чудотворца» под стеклом и совсем маленькую досточку с распятием Иисуса Христа. Я слышал, как мать то ли жаловалась отцу, то ли выпытывала его отношение к этому факту: «Мать икон нагородила, стыдно войти», и как отец оборвал ее: «Не суй нос, куда не следует. Верует – пусть верует. Тебе иконы ее не мешают».

Глава 4 «Цара». Я показываю «фокусы». Огород за два миллиона. Славка Песенка. Ти – Ти. Душевный разговор

Проснулся я от скрипа половиц. Солнце давно заслонило мой сон, растворив его в яркой слепящей белизне. Но проснулся я от скрипа половиц. Половицы певуче скрипели, и скрип то прекращался, то появлялся вновь. Шипело сало. Пахло жареным луком. Это бабушка хлопотала на кухне. Сначала я почувствовал голод, потом открыл глаза. Солнце било прямо в лицо, и я невольно прищурился и закрыл глаза ладонью.

– Вовка, – раздалось с улицы. – Вовка, – нетерпеливо, потом свист. Я мгновенно выпрыгнул из кровати, натянул шаровары, майку, схватил свою потертую феску, высунулся в окно и крикнул: «Щас». Не садясь за стол, жадно похватал то, что поставила бабушка: квашеную капусту, картошку с луком и салом и выскочил на улицу, дожевывая на ходу. Вслед что-то кричала бабушка, но я не слышал, я уже был во власти улицы.

– Айда на площадку, – позвал Пахом. – Там пацаны в «цару» играют. – У тебя деньги есть?

Я потряс карман, глухо звякнув медяками.

– За меня поставишь, – решил Пахом.

На пустыре, за частными домами, находилась бетонированная площадка, засыпанная землей и заваленная покореженным железом. Мы расчистили эту площадку, освободив от земли и хлама. Получилось ровное сухое место. Здесь можно было играть после дождя и ранней весной, когда в других местах еще грязь и слякоть. Говорят, что до войны на пустыре стояли ремонтные мастерские, а когда немцы подходили к городу, рабочие снимали станки и другое оборудование; что закопали, а что увезли.

Мы поднялись на площадку. Вокруг разбитого кона ползали на коленках и сопели пацаны. Нас заметили только, когда стали ставить новый кон. Я поставил за себя и за Пахома. Метая за черту битую, тяжелый царский пятак, разыграли очередь. Я оказался четвертым. Пахом вторым. Через несколько конов я проиграл все свои деньги. Не помог и Пахом, вернувший мне долг. Пахому везло, он три раза сбил кон, а переворачивал монеты, как семечки щелкал. Игра закончилась, и Пахом считал свой капитал: гнутые медяки, гривенники и пятиалтынные.

– Вовец, покажи фокус, – попросил Алик Мухомеджан.

– Не получится, настроения нет, – отмахнулся я.

– Да ладно, чего ты, Вовец, покажи, все просят, – тут же влез Витька Мотя.

Я неохотно опустил на колени.

– Клади монету на плиту, – попросил я Мотю. Тот вынул из кармана штанов гривенник и положил передо мной.

Пацаны сгрудились вокруг. Я потер руки. Убедился, что они сухие, и стал как бы накачивать ладони на монету, то опуская их, то поднимая. Создав необходимое поле и ощутив связь между руками и монетой, я стал двигать ладони от себя, словно прокладывая монете дорогу. Гривенник шевельнулся и пополз сначала медленно, потом быстрее туда, куда я вел его ладонями. Потом я остановил монету и стал медленно ее поднимать. Гривенник послушно поднялся за ладонями сантиметра на два и упал.

– Все, – сказал я, – дальше не получается.

– А без рук? – попросил Изя Каплунский.

– Нет, все, устал, – наотрез отказался я.

– Кончай, Вовец, своих пацанов не уважаешь, – обиделся Пахом.

– Ладно, ставь кон. – Я знал, что от Пахома все равно не отвяжешься.

Пахом выгреб мелочь из кармана и стал городить кон, ставя одну монету на другую. Внизу пятаки, выше пятнашки, потом гривенники. Я снова опустил на колени.

– Вовец, это близко, так каждый дурак сможет, – остановил меня Пахом.

– Я чуть отодвинулся и стал смотреть на столбик из монет, концентрируя на нем всю свою энергию. Столбик зашатался, как от подувшего на него ветерка. Я всем телом подался вперед, облекая желание в физическую форму. Столбик рухнул, и монеты рассыпались, укатываясь от места, где стояли.

– Молодец, Вовец, – похвалил меня Пахом. – Знай наших. А у меня ничего не получается, как ни стараюсь.

– И не получится, – усмехнулся Самуил Ваткин. – У Вовки от природы другая энергия в организме заложена, поэтому она и лечить может. Это как электричество.

– Эта энергия у всех есть, только она не проявилась, как у меня. И если тренироваться, можно достичь тех же результатов, – поспешил заверить я.

– Ерунда, – зевнул Самуил, не желая спорить о том, что ему было ясно.

– А где Монгол? – спохватился вдруг Пахом.

– А ему Коза огород копает. А он следит, чтобы Коза лучше копал, – вспомнил Витька Мотя.

– А зачем это Коза Монголу огород копает? – удивился Самуил.

– Дак Коза Монголу два миллиона проиграл.

– Как это два миллиона? – у Витьки Моти вытянулось лицо.

– А так! Сначала играли в пристеночки по две копейки. Монгол выиграл 18 копеек. Стали играть по пять копеек. Монгол выиграл рубль. Больше у Козы не было. Стали играть в долг. Сначала по рублю, потом по десять, потом по сто. Надоело в пристеночки, стали играть в погонялочки. Ну, в погонялочки Монгол кого хочешь обставит!

Когда Коза задолжал миллион, сыграли на миллион. После двух миллионов Монгол играть больше не стал. А долг обещал простить, если Коза ему вскопает огород.

– Пошли посмотреть, – предложил Пахом. На Мишкином огороде трудился Ванька Козлов. Мы остановились в сторонке и стали смотреть, как Иван ковыряет лопатой землю. По его лицу струился пот, и он едва успевал вытирать его рукавом. Мишка Монгол стоял рядом с руками в карманах и погонял Ваньку.

Увидев зрителей, Монгол почувствовал вдохновение и, подмигивая нам, стал разыгрывать комедию.

– Да, Коза, это тебе не в пристеночки играть. Давай, давай, не останавливайся. Как играть, так с удовольствием, а как копать, так лень.

Иван молча сопел и с трудом, прогибаясь назад, вытаскивал лопату с землей, затем всем телом обрушивался на эту лопату, чтобы разбить вынутый ком земли.

– А щас ты получишь шелобан, – весело сказал Мишка. – Чтоб не копал как зря, а на всю лопату.

И Монгол отвесил Ваньке шелобан с оттяжкой. У Ивана выступили слезы на глазах. Видно было, что он устал и еле держит лопату.

– Монгол, дай я покопаю за Ваньку, – предложил Пахом.

– Не надо, – сказал Монгол. – Договор дороже денег. Он мне два миллиона проиграл, пусть копает.

– А тебе не все равно, кто будет копать? Пусть Ванька отдохнет, а я покопаю.

Мы молча смотрели на Монгола.

– Ладно, – подумав, согласился Монгол. – Копай, жалко, что-ли.

После Пахома копал Витька Мотя, потом я, потом Самуил Ваткин, потом Аликпер Мухомеджан, потом Изя Каплунский. Устав, решили сходить на речку, а после обеда раздобыть лопаты и докопать Мишкин огород.

На улице Революции, у рабочих бараков, малышня играла в ножички. Монгол вдруг остановился и приподнял за шиворот второклашку Славку Песенкова.

– Ты чего, пусти, – Славка стал извиваться, стараясь освободиться от Монгола.
– Да я тебя не трогаю, дурачок. Мишка отпустил Славку.
– Правда, что тебя берут в Москву в детский хор?
– Ага, – подтвердил Славка и шмыгнул носом. В носу звонко хлопнуло.
– А как же мамка отпускает? – поинтересовался Монгол.
– А к нам целую неделю каждый день Игорь Яковлевич приходил.
– Это кто такой Игорь Яковлевич?
– Дирижер. Я в Москве буду на казенных харчах жить в интернате. Мамка хоть и плачет, а ей с нами двумя трудно. Я буду на каникулы приезжать.

– Песенка, спой, – ласково попросил Монгол.

Славка упрашивать себя не заставил. Он будто ждал, когда его попросят спеть, отошел чуть в сторону, откашлялся и запел чистым серебряным дискантом, от которого мурашки пошли по коже:

Суль маре лючика, Лястро гарденто,
Плячиде лендо, Простер альвендо.
Вели тер ляпиде, Валь тендо мия,
Санто Лючия, Санто Лючия.

Славке было все равно, на каком языке петь. Он пел так, как пели на пластинке, по радио или в кино. Пели бы там на китайском, и он повторял бы слова на китайском языке. Слова у него как-то прочно оседали в голове вместе с музыкой, и он не воспринимал их отдельно.

– Песенка, спой еще, – стали просить мы, но тут из окна высунулась мать Славки, Зоя:

– Чего к ребенку привязались? А ну марш отсюда! Здоровые балбесы! Делать нечего?..

А ты иди домой, – напустилась она на Славика.

Внешность Зои не вязалась с хриплым, срывающимся на визг голосом. Красавица со смуглой кожей, голубыми глазами, длинными ресницами и черной толстой косой, уложенной венком вокруг головы, мать Славки орала, раздражаясь по любому поводу. Женщины уступали ей и терпеливо сносили грубость. Ее жалели.

В сорок четвертом Зое принесли похоронку, а месяцем раньше ее муж, офицер с золотыми погонами и грудью, украшенной орденами и медалями, приезжал в отпуск по ранению и ходил с ней под ручку. Женщины понимающе улыбались и прятали зависть, опуская глаза, а дома ревели от щемящей тоски и одиночества...

Этот душераздирающий крик всегда будет стоять у меня в ушах. Зоя рвала на себе волосы и пыталась наложить на себя руки. Она успела прожить со своим мужем два года до войны и неделю на побывке. Первое время женщины не оставляли ее одну, а она ходила как полоумная и все молчала; одеваться стала неряшливо и не снимала с головы черного платка. А потом, когда стала отходить, удивила всех злобным характером и раздражительностью. И не изменилась, когда родила девочку, последнюю память о муже...

– Атанда! – весело крикнул Алик Мухомеджан, и мы понеслись галопом к речке, провожаемые Зойкиным криком.

У плотины под «бушем» Ти-Ти с Петькой Длинным возились в воде с самодельными сетками из противней, за которые всех нас в свое время драли, потому что противни мы тащили из дома. Мы их пробивали гвоздем, подвешивали за четыре угла на проволочный каркас, привязывали к днищу приманку и на веревке с деревянной палкой-поплавком опускали в воду, чтобы через некоторое время вытащить с пескарями, ершами и окуньками.

– Ти-Ти, – позвал Витька Мотя. – В третий класс перешел?

Ти-Ти недовольно повел ухом в нашу сторону и промолчал.

– Мы вас трогаем? – сразу взвился Петька. Когда обижали Ти-Ти, он остервенело бросался на его защиту.

Ти-Ти из-за дефекта речи долго не мог научиться читать. Он шепелявил и не выговаривал несколько букв. Над ним смеялись, он стеснялся и отказывался читать вслух. В первом классе его оставили на второй год. С трудом перевели в следующий класс и снова оставили на второй год во втором. Когда он читал числа, у него получалось что-то несурзное вроде «лас, та, ли, чытли», а когда счет переваливал за двадцать, получалось «тати лас, тати та, ти-ти-ти». Так и прозвали его Ти-Ти.

Петьку во второй класс перевели, но он решил дождаться Ти-Ти и оказался, в конце концов, с ним за одной партой. Их рассадили, но они перестали вообще ходить в школу.

Ти-Ти рос без отца, но мать драла его безбожно и за отца и за себя, прибавляя от души за свою несчастную долю. У Петьки отец был, но лучше бы его не было. Он как пришел в сорок четвертом, так с тех пор и не просыхал, пил горькую. Пьяный лез целоваться, плакал и жалел Петьку, а трезвый бил всем, что под руку попадет.

Маленький Ти-Ти, казалось, вообще расти не собирался, как был в первом классе недомерком, так и остался, а Петька все тянулся и тянулся вверх, словно выюн к солнцу. Так и ходили они два друга, метель да вьюга, везде вдвоем, водой не разольешь, вызывая невольные улыбки взрослых.

– Ти-Ти, – не обращая внимания на Петьку, веселился Витька Мотя, – как читается «конь»?

– Конь читается «мати знак – лосадь», – ответил Пахом.

Еще в первом классе учительница развесила на доске картинки с надписями и вызвала Ти-ти прочесть одну из картинок. Ти-Ти прочитал по складам: «Кы, о, ны, мати знак», посмотрел на картинку и объявил: «лосадь». Эта весть моментально облетела школу. В класс приходили старшие ребята и спрашивали: «Где у вас тут лошадь?»

От этой популярности Ти-Ти снова перестал ходить в школу. Завуч беседовала с классом, а учительница ходила к Ти-Ти домой, долго разговаривала с матерью, после чего Ти-Ти снова появился в школе с неизменной холщевой сумкой через плечо...

– Чего привязались? – лениво повторил Петька. Они о чем пошептались с Ти-Ти, «смотрели» сетки, достали из воды нанизанных на нитку пескарей, взяли из-под камня присыпанные песочком штаны и, не обращая на нас внимания, побрели вниз по берегу. Мы молча проводили взглядом удаляющиеся фигуры, маленькую Ти-Ти и длинную тощую Петьки.

Сразу лезть в холодную воду не хотелось, и мы просто развалились на теплом песке и смотрели в бездонную голубизну неба. Солнце ласково грело голые животы, потусторонне шумела плотина, закрывались на дрему глаза и лениво шевелились мысли.

– Ты кем будешь, когда вырастешь. Пахом? – спросил Монгол.

– Не знаю, а что?

– Он будет дворником. Каждый день во дворе метлой машет, – засмеялся Армен Григорян,

– Шас получишь, – не поворачиваясь, огрызнулся Пахом и, подумав, ответил:

– Я люблю море.

– Это где ж ты его полюбить успел? Когда двор метлой чистил? Наверно, представляешь, что это палуба, – не унимался Армен.

– Дурак ты, Армен, – презрительно бросил Пахом. – У меня дед еще в Японскую на канонерке «Смелый» служил, а дядя Петя на подводной лодке плавал, сами знаете.

Мы, конечно, знали, что брат Ванькиного отца был моряком и погиб под Севастополем, и теперь чуть помолчали, как бы утверждая за Пахомом право стать моряком.

– А я люблю природу, – задумчиво покусывая травинку, сказал Мишка Монгол. Голос Монгола подобрел, а глаза стали масляными. – Мать хочет, чтобы я пошел учиться на садовника. Говорит, всю жизнь на воздухе среди цветов.

– И среди говна, – продолжил в тон ему Самуил таким же мечтательным голосом. – Знаю, бабка Фира, дяди Абрама мать, на цветах помешана. Так от ее навоза у нас уже носы посинели. Куринный помет собирает, коровьи лепешки по улице ищет. Все ведра и кастрюли загадила.

– Много ты понимаешь, Шнобель. Бабке спасибо сказать нужно.

– Это за что ж?

– За красоту, дурак. За то, что она людей радует.

– Как же, радует! – обозлился Самуил. – Кто ее цветы видел? Ты видел? То-то. На базаре ее цветам радуются. По червонцу штука.

– Самуил, а почему вы в свой двор никого не пускаете? – поинтересовался Витька Мотя. – Забор такой, что не перелезешь.

– А ты перелезь. Там пес с теленка на проволоке по двору бегаёт. Недаром на калитке написано «Злая собака», – усмехнулся Пахом.

Мы выжидающе смотрели на Самуила.

– А я почему знаю? – смутился Самуил. – Это дом дяди Абрама.

– Ну и что? Твой же родственник, – упрямо возразил Витька.

– Да, родственник, – вспыхнул Самуил. – Родственник. Только мы с матерью, Соней и Наумом в одной полутемной комнате живем. А мать ему за квартиру двести рублей платит. И с матерью он ругается за то, что она нас в синагогу не пускает.

– Ну, фашист, – вырвалось у Моти.

– Какой же он фашист, если во время войны сто тысяч на танк отдал, – сказал Изя Каплунский. Просто в нем старая вера глубоко сидит. Он боится, что если не будет хранить старые еврейские традиции, то евреи потеряются и вообще исчезнут. Поэтому он и не пускает к себе никого, кроме верующих евреев, и с русскими старается не водиться.

– Он и читает только старые еврейские книги, – подтвердил Самуил. – Потеха. Начинает с конца и читает наоборот.

– Как это, наоборот? – усомнился Мотя.

– Ну, мы читаем слева направо и с первой страницы, а древнееврейские книги читаются справа налево с последней страницы.

– Здорово.

– Каплун, а откуда ты про Абрама все знаешь?

– Знаю, что знаю, – уклончиво ответил Изя.

– Дядя Абрам на его матери жениться хотел, – выдал тайну Самуил. Изя бросил на него презрительный взгляд:

– Пусть сначала рожу помоеет. Мать от него корки хлеба не возьмет. Это он отца посадил. А потом охал, жалел, помощь предлагал. Мы голодали, а только мать копейки у него не взяла.

Изя сжал губы и замолчал. Видно, он думал о чем-то своем, чем не хотел делиться с нами.

– Ну, огольцы, купнемся! – бодро предложил Монгол.

– А купнемся, – отчаянно согласился Пахом.

Они стащили штаны, потом трусы и, закрываясь ладошками, стали опасливо входить в воду. Монгол не выдержал медленной казни холодной водой и, завопив диким голосом, бросился всем телом в речку, обдав Пахома фонтаном брызг. Пахом повернул к берегу, за ним следом выскочил с выпученными глазами Монгол и, издавая ошалелые вопли, стал как безумный носиться по берегу.

Глава 5 Горбун Боря. Немец Густав и подпольщики. Помещик Никольский. Борино убежище

Сверху послышался шорох и посыпались камешки. Цепляясь одной рукой за землю, по крутому берегу неловко спускался горбатый Боря. На голове, вдавленной в плечи, сидела мягкая фетровая шляпа, засаленная и потертая настолько, что трудно было угадать ее цвет.

– Ну, что, соколики мои милые, водичка теплая? – его резкий скрипучий голос шел не из горла, а откуда-то из живота.

– Не-е, холодная, – засмеялся Пахом.

– А мне сказали, как парное молоко.

Подбородок горбуна тянулся кверху, еще больше вдавливая затылок в плечи, и умные огромные васильковые глаза от этого тоже глядели вверх. Глаза были настолько выразительны, что, казалось, живут на лице отдельно, сами по себе.

– А ты сам окунись, а потом нам скажешь, – посоветовал Пахом,

– И то верно, – согласился Боря и стал неторопливо раздеваться.

Голый Боря являл совершенно нелепое зрелище. Длинные тонкие ноги, как у журавля, подпирали короткое туловище с плоским тазом, а в промежности висела, будто сама по себе, темная кила тяжелой мошонки.

– Дядь Борь, закройся, вон баба белье поласкает, – предупредил Изя Каплунский.

Небось не укусит, – бросил равнодушно Боря и пошел своей маятниковой походкой, закидывая руки за спину и размахивая ими где-то за ягодицами, ступая осторожно, будто пробуя воду. В речку Боря зашел также неторопливо, как шел по берегу. Когда вода дошла ему до груди, он перевернулся на спину и поплыл вдоль берега. –

– Во дает, – хохотнул Монгол, – вода ледяная, окунуться б, да назад.

– Да Боря зимой по двору в трескучий мороз без рубашки ходит, – сказал Мухомеджан.

– Зачем? – заинтересовался Самуил.

– Закаляется, чтобы не болеть. Ты же видишь, он убогий, болел часто, вот и стал закаляться. Он и зимой в плаще ходит.

– Да это мы знаем, – засмеялся Пахом. – Больше надеть нечего, вот и ходит.

– Ладно, есть чего или нечего, а ты поплавай с Борей, если такой ушлый, – усмехнулся Монгол.

– Ага, разогнался. Я лучше щас Армена искупаю, – и он сделал движение в сторону Григоряна, тот приготовился вскочить.

– Да не бойся, я пошутил, – Пахом расслаблено улегся на песок.

Из речки вышел Боря. Он руками стряхнул с себя воду и стал одеваться. На теле не появились даже мурашки.

– Дядя Борь, это правда, что ты голый по двору ходишь, закаляешься? – спросил Изя Каплунский.

– Да что ты, милый, – засмеялся как заквакал Боря, – голый не хожу, а закаляться закаляюсь и, вздохнув глубоко, сказал:

– Эх, ребяташки, пошли вам бог хорошего здоровья. Плохо хворому-то.

– А правда, что ты подпольщиков у себя при немцах прятал? – поинтересовался Каплунский.

– Было такое, соколик мой, – нехотя ответил Боря.

– Расскажи, дядя Боря, – попросил Мишка Коза.

Боря вдруг поскуачил лицом и завозился со шнурками на кирзовых ботинках.

– Расскажи, дядя Борь, не ломайся, – присоединился к просьбе Мишки Монгол.

– Да ведь будь она, эта война, проклята. Как вспомню, сердце останавливается. До сих пор Густав во сне снится.

– Что за Густав такой? – поинтересовался Мотя.

– Жилец. Унтер. Как напьется, за пистолет: «Горбатч, к стенке». Да, почитай, каждый день расстреливал. Стоишь и думаешь, пальнет мимо, или спяну попадет? А то выводил во двор. «Все, Горбатч, пошли. Ты есть партизан, и я буду тебя расстрелять». Выведет, к дереву поставит и целится в лоб. Я смерти-то не боюсь. Что я? Муха. Прихлопнул и растер. А вот унижение терпеть невыносимо. Человек, он что? Червь. Есть он – и нет его. Но это опять же, с какой стороны смотреть. Разум мне дан свыше, а отсюда и гордость человеческая, и боль, и скорбь. И терпел я унижения эти потому, что не за себя одного отвечал, а за людей был в ответе, которых хоронил в подвале своем. У меня дома подвал до войны хитрый получился. Из кухни вход под половицами. Дом-то старый, помещичий, еще Никольскому принадлежал.

– Это, какому Никольскому, деду Андрею Владимировичу? – уточнил Мишка.

– Истинно. Андрею Владимировичу. У него еще два дома по нашей улице стояло.

– Так он буржуй недорезанный, – зло пыхнул Витька Мотя. – Как же его в Сибирь не сослали?

– Э, милоч, человек Андрей Владимирович особый, не стандартный.

Только революция пришла, он тут же дома Советской власти отписал. Золото, не скажу, что все, а в ЧК самолично сдал. Пришел, попросил двух сотрудников, привел в сад, показал, где копать, да не в одном, а в нескольких местах. Жена, покойница, в голос: «Ирод, по миру пустил, дочку без приданого оставил». Тот сначала слушал, а потом как гаркнет: «Цыц, купчиха чертова, из-за тебя, на утробу вашу совестью торговать начали, о душе забыли. Куда копили? Кого грабили? Да взял топор – и к трубе водосточной. Разворотил коленце, а оттуда банка круглая с драгоценностями. «Вот, – говорит, – хотел на черный день оставить, а теперь вижу: не надо, ничего не надо, все берите». Да перекрестился и говорит: «До чего же мне легко стало, господи. Яко благ, яко наг».

– Ну, дед, ну Никольский! – обрадовался почему-то Пахом, а Самуил недоверчиво покачал головой:

– Ну, положим, все-то он не отдал; что-нибудь да себе оставил.

– А ты по своему Абраму не суди, – обиделся за Никольского Каплунский.

– Да, соколики мои, русская душа за семью печатями лежит. И никому не дано понять и оценить характер и поступок русского человека. Казалось бы, писатели наши: Достоевский Федор Михайлович и Толстой Лев Николаевич куда как полно раскрыли русский характер и в душу русскую заглянули. Ан нет. Еще Чехов Антон Павлович понадобился, чтобы новую струнку затронуть. И не разгадан русский человек, и не описан полностью остался.

Максим Горький изумился как-то и с восхищением воскликнул: «Талантлив до гениальности», не удержался и заметил: «И бестолков до глупости».

Взять того же Никольского Владимира Андреевича. Как сыр в масле катался. Казалось бы, чего тебе еще? Ешь, сыт и убажен, и прихоти любые твои исполняются. А ведь ел его червь сомнения, душа роптала и протест в ней зрел.

Фашист, он так и думал, когда ему место головы Городской Думы предлагал. Мол, властью обиженный, лишился всего и теперь зубами грызть большевиков будет, а он кукиш им. Стар, говорит, немощен я служить, дайте помереть спокойно. А старик, сами знаете, крепок. И про подвал он знал, конечно. Кому как не ему свой дом бывший знать? Знал и молчал.

– Так что про подвал-то, дядя Борь? – напомнил Монгол.

Вот я и говорю. Подвал с каменными сводами был аккурат под моей квартирой, я им и пользовался. Вход со двора, из палисадника, еще до войны замуровал заподлицо с фундаментом, а проем, где кончались ступеньки и начинался подвал, тоже заложил кирпичом, так что получился потайной простенок. А вход в подвал у меня начинался из подпола. Только

если в подпол спустишься, входа в подвал не увидишь, кто не знает, тот и искать не станет. Опять же, если кто вход найдет, да вниз спустится, ни за что не догадается простенок искать. А в простенок-то и можно через потайной лаз попасть, да если что, отсидеться.

Все мы про Борин подвал знали, но слушали, не перебивая, будто в первый раз слышали.

– Дядя Борь? – опросил Самуил. – А как же так вышло, что ты на базаре примусными иголками торгуешь? Самого секретаря горкома прятал и иголки продаешь.

Самуил, прищутив глаз, смотрел на Борю. Мы тоже с интересом ждали, что скажет Боря.

– Эх, вы, воробушки небесные, да мало ли кто кого, где прятал, кого спасал. Что ж теперь – памятники им ставить? Да и не секретаря я прятал, а человека божьего...

– А вот Густава я все же встретил, – без всякого перехода сказал Боря.

– Да ну? Где? – вскинул голову Мотя.

– А здесь, в городе. У Свисткова, начальника над военнопленными, немцы дом ремонтировали. Иду как-то по улице, вижу: двое пленных свистульки и гимнастов на двух палочках на хлеб меняют. Гляжу и глазам не верю: Густав, подлец, стоит, а вокруг ребятишки. Увидел меня, узнал, вытянулся, побледнел. Улыбка жалкая, «Гитлер капут, русский гут», – шепчет. Посмотрел я на него, и чувствую, нет у меня зла. Все перегорело. И передо мной не зверь какой стоит, а самый обыкновенный человек, рыжий, лопоухий.

– Я все равно б не простил, – сказал Пахом. – Они наших вешали, а мы их в плен.

– Э, милый, всякие немцы были. Были такие, что вешали. А были солдаты чести, которые воевали, выполняя приказ фюрера Германии. Эти не лютовали, а исполняли свой долг. А больше всего было одуроченных. Правда, к концу войны прозрели и те и другие.

– Я б не простил, – упрямо повторил Пахом.

– Ну ладно, ребятушки-козлятушки, вы загорайте, а я пошел. Пора мне.

И Боря полез наверх, то, помогая себе одной рукой, цепляясь за кустики, то становясь на четвереньки. А мы смотрели ему вслед, пока он не взобрался наверх крутого берега и, став на тропинку, не исчез за его крутизной.

Уже вечером мы вскопали Мишке огород. Мать его, чуть тронутая умом Анна Павловна, курицей кудахтала вокруг нас, не зная, как отблагодарить и, наконец, дала всем по стакану молока от козы, которую держала для Мишки и берегла как зеницу ока, считая, что полезнее козьего молока нет ничего на свете...

На соседнем огороде бабка Пирожкова, сидя на табуретке, тыкала лопатой в землю, окापывая себя. Когда она заканчивала копать землю в пределах ее досягаемости, дочка Люся и внучка Зоя поднимали бабку под руки, переводили на новое место и подставляли под нее табуретку. Полностью ее зад на табуретку не умещался и свисал с двух сторон двумя жирными складками. Так Пирожкова выполняла предписание врача, пытаясь сбросить свой стосорокакилограммовый вес физической работой.

Глава 6 Шаман. Похождение души. Камлание. Отец и бабушка о бессмертии души

...Шаманом меня выбрали духи-покровители. Они явились ко мне и предложили стать шаманом. Я предназначен быть шаманом, потому что в моем роду были предки шаманы и потому, что я болел шаманской болезнью. Временами я ночью тайком выходил из чума и сидел на дереве. С рассветом я, стараясь быть незаметным, возвращался и ложился в свою постель. Я часто лежал без сил, ощущая ужасные боли. Мне чудилось, что Духи преследуют и терзают меня из-за моего упрямства, потому что Духи однажды явились и предложили мне стать шаманом, а я отказался, и им ничего не оставалось, как наслать на меня болезнь. Без мучений обойтись было нельзя. Духи должны были разрубить меня на части, сварить и съесть, чтобы воскресить уже новым человеком, стоящим выше простых смертных. Во время моей болезни меня водили по разным темным местам, где бросали то в огонь, то в воду. Я шел куда-то вниз и так дошел до середины моря и услышал голос: «Ты получишь шаманский дар от хозяина воды. Твое шаманское имя будет «Гагара». У меня были спутники: мышь и горноста́й, которые показали мне семь чумов. В одном чуме «леди преисподней» вырвали мое сердце и бросили вариться в котел. В месте, где было девять озер, мне закачивали горло и голос; там я увидел на острове высокое дерево.

Голос сказал мне: «Из ветвей этого дерева тебе нужно сделать бубен». Потом я летел вместе с птицами озер. Как только я стал удаляться от земли, я увидел падающую ветку для бубна и поймал ее.

Горноста́й и мышь привели меня к высокой сопке. Я заметил вход и вошел. Внутри было светло. Там сидели две слепые женщины-божества с ветвистыми рогами и оленьей шерстью. Женщины позволили вырвать у них по волоску и сказали: «Это поможет тебе смастерить шаманскую одежду».

Дальше я увидел высокие камни с широкими отверстиями. В одно из них я вошел. Там сидел голый человек и раздувал огонь мехами. Увидев меня, голый человек взял щипцы, протянул меня ими, разрубил тело на части и сварил. «Если над ним поработать, он станет великим шаманом, – сказал он. – Вот наковальня доброго шамана». Он положил мою голову на наковальню и несколько раз сильно ударил по голове. Потом кузнец собрал меня по частям, в голову вставил другие глаза, а потом просверлил уши и сказал: «Ты будешь понимать и слышать разговоры растений».

Через семь лет моих походов какой-то человек вложил мне в рот когда-то вырезанное сердце. Из-за того что мое сердце долго варилось и закалялось, я могу долго распевать шаманские заклинания и не испытывать усталости...

Теперь я мог спасти свой род от болезней. Перед камланием я взял свой шаманский ящик с костюмом, бубном и

«духами, вырезанными из дерева. Ящик мой украшали колокольчики, ленты, шнурки. На одной стенке красной краской нарисованы мои духи. Я одевался неторопливо и тщательно. На длинных ноговицах, привязанных к штатам и соединенных у щиколоток с короткими головками из камосов, у меня пришиты когти медведя, потому что это не я буду ходить, а медведь будет прыгать и скакать, раскачиваясь на ходу. На плечах моего кафтана нашиты железные крылья гагары, потому что это не я буду летать по воздуху, а гагара, в которую я обращаюсь. На шапке, сделанной из шкуры оленя, снятой вместе с рожками, торчит железное изображение рогов оленя, потому что олень, в которого я превращусь, будет мчаться сквозь лесную чащу,

Звон колокольчиков и подвесок – это звук, который идет из мира духов. Трудно держать в руках бубен из-за тяжести собравшихся в нем духов. Но благодаря духам, в нужное время

бубен превратится в лодку, плывущую по быстрой реке, или в лук, а потом в летящего по воздуху оленя.

Я бью в бубен, я призываю своих духов-помощников. Их надо возвеличивать. Тогда они быстрее услышат меня и появятся.

«Откликаюсь на мой голос, придите. Откликаюсь на зов, опуститесь, железного хана сын-хан, уважаемый, красноречивый хан».

Дух услышал обращенное к нему песнопение, и я хрипло объявил о его присутствии и заговорил его голосом: «Ао, кам, ай».

Я созвал своих духов и проверил, надежна ли стража из духов у чума и на пути предстоящего путешествия. Моя душа отправилась в сопровождении духов-помощников в подземный мир, чтобы выяснить, почему мой род болеет. Предки сказали, что во всем виноват шаман соседнего рода. Посланные им духи вселились в людей и губят их. Но как спасти род?

Я сильнее забил в бубен, и моя душа опять улетела к предкам. Они сказали, что надо послать к соседям злых духов «бумумук». Пусть «бумумуки» вселятся в соседей и принесут гибель, и тогда их шаман возьмет назад своих вредоносных духов. Я бешено скакал по чуму, разбрасывая ногами головешки и угли из очага, потом, доведенный до экстаза, бился головой о шесты чума, кусал до крови губы и стал подражать полету своих духов. Потом я летал вместе с духами через скалы, хребты, водопады и реки в сторону врагов. Я наслал «бумумуков» на соседей. Я спас свой род.

Внезапно силы оставили меня, и я бессильно повалился на пол чума, и меня окутала непроницаемая тьма...

Когда мы вечером сидели за столом и пили чай, я сказал, что во сне был шаманом и шаманил, носясь по комнате как угорелый, а перед этим прошел весь путь шамана.

– Ну, во-первых, это называется камлать, а не шаманишь, а носился ты не по комнате, а по чуму, – с улыбкой сказал отец.

– Правильно, по чуму. Я носился по чуму и камлал, – подтвердил я.

– Вовонька, дитенок, – пропела бабушка. – Это твоя беспокойная душа рассказывает о том, что когда-то видела,

– Уж тогда скорее твоя душа вспоминала, что ты был когда-то шаманом, – усмехнулся отец.

– Почему? – спросил я.

– В восточных религиозных учениях есть такое понятие «реинкарнация», что значит «переселение душ». Явление это известно с древних времен. Еще Платон вслед за Пифагором разделял идею переселения душ.

– Что значит «переселение душ»? – Эта тема волновала меня, потому что в моих снах, похожих на яркие картинки, логичные в своем продолжении, часто терялась та грань, за которой кончается явь, и я пользовался любой возможностью, даже нелепой, чтобы объяснить эту мою раздвоенность сознания.

– Это значит, – продолжал отец, – что душа – бессмертна и со смертью физического тела переселяется в другое тело или даже растение.

– Что ты такое говоришь, Тимофеич? – возмутилась бабушка. – Душа-то бессмертна, но она никуда не переселяется. Господь забирает ее и определяет ей место. Какая в рай попадет, а какая в ад.

– Это в нашей, православной вере, мама. А я так думаю, что она никуда не попадает, потому что ее просто нет.

– Господь с тобой! Грех это, – бабушка перекрестилась и испуганно оглянулась на свою комнату, где висели ее иконы. Потом зашептала:

– Как же без души? Без души – это пень тогда будет, а не человек. Господь дает нам душу. Господь и отнимает. Ты же Библию читаешь, и церковные книги я у тебя видела.

– Да веруйте вы себе на здоровье, мама, – сказал отец. – Я уважаю всякую Веру, и никого не хочу разубеждать. А Библию я читаю, потому что хочу понять, где вымысел, а где правда. Чем, например, отличаются мусульмане от христиан.

– А тем и отличаются, что басурманы они, нехристи.

– Вот видишь, а они говорят, что мы неверные.

– Это пусть говорят, Бог их за это и покарает.

– Так уж и «покарает». А за что карать-то? Ты веришь в Бога и Христа, мусульмане верят в Аллаха и Мохаммеда, что для них то же самое, а Бог-то один.

– Один, один, батюшка. Истинно один. Спасибо за чай.

Решив не гневить Господа греховным разговором, бабушка встала, перекрестилась и пошла к себе в комнату.

– Ну, ты, Юр, связался, – недовольно сказала мать. – Что, поговорить больше не о чем?

– Извини, – смутился отец. – Как-то так получилось... Вот, думаю сам веру принять. Только не знаю, какая лучше, православная или мусульманская. А может буддизм? Но тогда в переселение душ придется поверить. Правда, после этого меня из партии выгонят, – пошутил отец.

– Буровишь ты, Юр, черте что, – возмутилась мать. – За столом сидишь. Ты лучше бы с Вовкой куда к врачам ходил. То летает куда-то, то чертовщину какую-то видит.

– Да не беспокойся ты, мать. Все у него нормально. Просто он немного не похож на других. У него более чувствительная нервная система. Поэтому и сны у него необычные. Его память запечатлевает любую, даже самую незначительную информацию помимо его воли, а потом она проявляется, во сне, например. Вот и весь фокус. Вот он говорит, что не знал таких слов, как «камлать», «чум», но ведь они как-то к нему в память попали.

– А как же одежда? А слова, которыми я духов вызывал? – неуверенно сказал я.

– Да все то же самое. И одежду ты мог видеть. Может быть, в музее.

– В музее шаманов нет.

– Ну, мало где? Я же говорю, что эта информация может откладываться в памяти непроизвольно. И радио, и подслушанные невольно разговоры... Не хочешь же ты сказать, что ты действительно был когда-то шаманом? – Отец потрепал меня по волосам, – Отдыхать надо больше. И меньше забивать голову всякой ерундой.

Глава 7 Отец и Леха. Пустырь. Метатель молота Алексеев. Ванька Коза. Рассказ о Ваське Графе. Леху увозит «черный ворон»

Леху забрали. Он не ночевал дома, и его не было в общежитии. Бабушка Маруся сходилась к хорикам, где жил какой-то Лехин знакомый, пришла в слезах, бухнулась к отцу в ноги и, тонко причитая, стала просить выволочь паразита Лешку из милиции. Отец недовольно хмурился, отчитывал мать, которая заступалась за брата, выговаривал бабушке, но куда-то ходил, перед кем-то хлопотал, и через неделю Лёха пришел домой.

На Леху жалко было смотреть. Блатной налет с него слетел как шелуха, будто его и не было. Леха осунулся, белесые ресницы растерянно хлопали, и было видно, что он напуган.

Леха появился утром, когда отец уже был на работе, и как шмыгнул в бабушкину комнату, так и просидел там до вечера.

Бабушка порхала из кухни в комнату, из комнаты на кухню, совала Лехе картошку с огурцом и все охала и сокрушалась, что он похудел.

Придя с работы, отец спросил коротко:

– Пришел?

– Дома, целый день сидит, не евши, в рот ничего не взял, – заскулила бабушка Маруся.

– Пусть зайдет в зал, – приказал отец.

– Ленья, дитенок, иди, Юрий Тимофеевич зовет, – с нарочитой строгостью позвала бабушка и просительно к отцу:

– Ты ж его, сироту, не бей.

– Дура вы, мамаша, – возмутился отец. – Вам бы не заступаться, а просить меня, чтоб три шкуры с него, подлеца, спустил за его дела, а вы...

Отец не договорил и, махнув рукой, ушел в зал. Из своего убежища вышел Леха. Он не знал, куда деть руки, то засовывал их в карманы, то вытаскивал, и они щупали и мяли рубаху, а глаза его бегали загнанными зверьками.

– Ой, дитенок, сиротинушка моя горемычная, головушка горькая, – вполголоса запричитала бабушка, поглядывая на дверь в зал.

– Леонид, – слышался голос отца.

Леха втянул голову в плечи и шагнул в комнату с видом обреченного на смерть. Я было сунулся за ним следом, но отец выставил меня за дверь, и я сидел, прислушиваясь к тому, что происходило в зале. Бабушка мягко, как кошка, ходила по кухне, промокала глаза концом головного платка и тоже прислушивалась.

До нас доносился сердитый голос отца, но слов было не разобрать. Только отчетливо выговаривал рыдающий голос Лехи: «Отец, гад буду, если...» Наконец, дверь распахнулась, и вышел Леха с красными мокрыми глазами и жалким оскалом зубов с огненным сиянием золотой коронки.

– За отца душу выну, – пообещал Леха и ушел в бабушкину комнату додумывать свою дальнейшую жизнь...

На улице никого не было, и я побежал на пустырь. В это время на пустыре тренировался чемпион области Юра Алексеев, и мы любили смотреть, как он метает свой молот. Пацаны кучно сидели на пригорке и следили за чемпионом. В спортивных шароварах, до пояса обнаженный, Алексеев, раскручивал над головой ядро на металлическом тросе, поворачивался вслед за ядром несколько раз сам и выпускал снаряд. Ядро тянуло спортсмена за собой, и он балансировал на одной ноге, удерживая равновесие, чтобы не переступить черту, и следили за полетом снаряда, который со свистом, рассекая воздух, мощно летел, неся за собой трос

с ручкой, будто хвост кометы; опускался по дуге и глухо бухал о землю, замерев в выбитой им лунке. Алексеев так и стоял на одной ноге, провожая взглядом ядро и наклоняясь, будто сам летел вместе со снарядом, и только когда снаряд падал, он, словно спотыкался обо что-то, выпрямлялся и шел к концу поля.

Алексеев долго щупал землю или воронку, вырытую ядром, чистил шар снятой рукавицей и, наконец, возвращался на исходную позицию. Меня всегда удивляло, что он тащил ядро через все поле назад, а не бросал его оттуда еще раз.

– Юрик, сколько? – деловито осведомился Пахом. Алексеев даже не посмотрел в его сторону, расставил ноги, потоптался, как бы врываясь в вытоптанный пятачок, и снова закрутил молот над головой.

– Меньше пятидесяти, – сочувственно перевел Мухомеджан.

– Ну что, Вовец? – поинтересовался Монгол. – Твой отец Лёхе врезал? Ребята отвели глаза от поля и уставились на меня.

– Нет, – разочаровал я их, – не врезал.

– Почему?

– Откуда я знаю? Отец с ним целый час о чем-то говорил, а дверь была закрыта.

– А откуда ж ты знаешь, что не врезал? – с надеждой спросил Изя Каплунский. Я пожал плечами:

– Если бы он его ударил, Леха визжал бы как резанный, а он молчал. Да и отец никогда не дерется.

– Вовец, а почему Леха тебя не любит? Вроде дядька, заступаться должен, а ты сам его боишься.

– Не знаю. Он себя считает сиротой, а я при отце и матери. Злится. Только у нас дома отец никого не выделяет. С Олькой нам покупают все поровну, ей даже больше, чтобы разговоров не было. А Леха сам себя в несчастные записал. Ему неловко вроде сидеть на отцовской шее, а сам получает мало. И злится. Со шпаной связался.

– А зачем ему получать много? Он на кондитерской фабрике работает. Конфеты, пряники. Ешь, не хочу! – Изя мечтательно завел глаза.

– Нас бы туда! – согласился Вовка Мотя. Все засмеялись.

– От Лехи всегда кондитерской фабрикой пахнет, – сказал Григорян.

– Эссенцией от него всегда пахнет, – усмехнулся я. – Фруктовая эссенция, которую добавляют в конфеты, на спирту. Мужики там ее пьют вместо водки.

– То-то Лёха все время пьяный ходит, – сообразил Витька Мотя.

– Так за что его забрали в милицию? – спросил Самуил.

– Не знаю. Бабушка не говорит, а мать сказала, что это не моего ума дело.

– Не знаю, не знаю! – передразнил Пахом. – Что ты вообще знаешь? Мать говорит, что они ограбили квартиру.

– Не квартире, а магазину, – поправил Ванька Коза. – А Леха на шухере стоял.

Витька Мотя присвистнул. Мы выжидательно смотрели на Ваньку. Ванька было замолчал, чуть поколебался и выложил все, что знал:

– Магазин брали монастырские, с которыми водится Леха. Леху поставили на шухер. Только какой Леха вор? Обыкновенный прибалтанный. Стоял, а коленки, видно, тряслись. Увидел лягавого – в штаны наложил и драпанул с перепугу. Тот его и сцапал. Конечно, подняли тревогу. Всех и взяли. Китаец ушел вроде, но через день его тоже взяли на малине.

– Не драпани Леха, лягаш прошел бы мимо – и магазину хана, – заключил Иван.

Пока мы молча переваривали Ванькин рассказ, Алексеев успел снова метнуть свой молот и ощупывал воронку на другом конце. Монгол вынул изо рта сухую былинку, которую лениво перетирал зубами, и вдруг спросил:

– Коза, а откуда тебе все это известно?

Иван приподнялся на локтях, внимательно посмотрел на Монгола и с усмешкой ответил:

– Сорока на хвосте принесла.

– Смотри, Коза, доиграешься. Забуришь как Леха. Курские-то почище монастырских будут.

Ванька презрительно циркнул слюной через зубы и ничего не ответил.

Ванька последнее время водился с нами редко, все больше бегал на Курскую, где жила отъявленная шпана. Не раз он приносил домой ворованные тряпки, а мать молча прятала, невольно поощряя его. Старшая сестра, Нинка, девка красивая и развязная, когда Ванька показал ей маленькие золотые сережки, спросила:

– Где взял?

– Нашел, – ответил Ванька,

– Сразу две? – засмеялась Нинка. Серьги у него взяла и, подмигнув, сказала, улыбаясь:

– Вот бы ты мне еще перстенок золотой нашел,

Нинке было шестнадцать лет, но полнота делала ее старше, ходила она в туфлях на высоких каблуках, и за ней ухаживали офицеры.

– Огольцы, гляди! – показал рукой Армен.

Алексеев метнул молот, побалансировал на одной ноге, проследив за полетом ядра, и опрометью бросился на другой конец поля. Он поднял ядро и долго ходил вокруг лунки, поглядывая на нас, потом вбил кол, сделав отметку броска, и пошел, сияющий, к исходной позиции ближней к нам стороной.

– Сколько, Юрик? – спросил Пахом.

– Пятьдесят два! – белозубо улыбаясь, ответил чемпион.

– Ну, ты даешь! – вежливо удивились мы.

У Алексеева рот растянулся до ушей. Он почистил ядро, не торопясь, надел рубашку и, усталый и довольный, пошел с поля.

– Так он скоро и Александра Шехтеля догонит, а Шехтель чемпион России, – сказал Самуил Ваткин.

– А это сколько? – поинтересовался Монгол.

– Больше пятидесяти четырех метров.

– Так Юрик его скоро и догонит, – порадовался Пахом,

– Может и догонит.

– Мне домой пора, – поднялся Ванька Коза.

– А футбол? – спросил Каплунский.

– Неохота, – отмахнулся Ванька.

Он ушел, не торопясь, вразвалочку, чувствуя, что мы смотрим ему вслед.

– Пошел к курским, – сказал Мотя.

– А то куда ж, – согласился Монгол.

Солнце клонилось к закату, румяня крыши домов и верхушки деревьев, отчего они становились похожими на сказочные картинки из детских книг. Земля за день нагрелась, напиталась солнцем, но за ночь она остынет и утром встретит светило паром и туманом в низинах. Но солнце вновь даст ей тепло, необходимое для жизни. Вечера последних весенних дней выдались сухими и теплыми. Мы сидели на траве, развалиясь и лениво пожевывая травинки, а вокруг все дышало тишиной и покоем.

– Миш, а, правда, что Васька Граф сам с Курской? – спросил Сеня Письман.

– Правда.

– А я слышал, что он из монастырских, – возразил Пахом.

– Нет, из курских, точно знаю. Да ты спроси у Козы, он тебе скажет.

– Коза сам не знает. Это курские форс давят, будто Граф их. Бахвалятся.

– Тетя Фира говорит, что вчера на барахолке мужику продали отрез бостона, дома развернул, а там уже рукав от фуфайки, – сказал Семен. – Надо же так сделать. Ведь мужик своими глазами отрез смотрел.

– «Кукла». Жулики могут все что угодно завернуть, комар носа не подточит. Могут показать настоящий отрез, а подсунуть «куклу». Ловкость рук, – объяснил Монгол.

– Это Граф, – решил Володька Мотя.

– Ой, уморил. Будет Граф руки марать такой мелочью. Он по барахолкам не ходит. Это Санька Хипиш. Тот такие штучки вытворяет. А Граф ворует по крупному.

– А, говорят, они работают в паре, – Витька Мотя переменял позу и сел поудобнее. – Я слышал про них такую историю. Сели в поезд, в купе. Ну, Граф в шляпе, при галстукке. Сидит, ведет разговор с пассажирами, о том, о сем, знакомится. Появляется Хипиш. Садится. При удобном случае вытаскивает у Графа, так чтобы заметили соседи по купе, часы и смывается. Тут сразу поднимается шухер. Мол, у вас часы украли. Граф говорит: «Не может быть. Мои часы при мне». «Нет, часов у вас нет». Короче, Граф вызывает всех на спор. Те знают, что часов точно нет, и готовы спорить на все, что у них есть. Граф показывает часы, получает деньги и – прощай Маруся.

– Ловко! – отметил Армен Григорян. Мы засмеялись.

– Санька на базаре быть не мог, – неожиданно заявил Самуил Ваткин.

– Почему это? – приподнялся на локтях Монгол.

– Да потому что он в тюрьме.

– А ты откуда знаешь?

– Помнишь, в прошлом году в мебельном магазине забрали цыган. Хотели магазин ограбить, да не успели?

– Ну? – подтвердил Алик Мухомеджан.

– Так вот, Граф там был главарем, а Хипиш ему помогал.

– А цыгане?

– А цыгане для отвода глаз.

– Знаешь, так расскажи, – потребовал Мотя старший.

– Давай, рассказывай, – поддержали мы Мотю.

– Значит так, – деловито начал Самуил. – Граф с цыганами за 15 минут до закрытия магазина на перерыв покупают шкаф. Долго выбирают, открывают, закрывают, а под шумок Санька прячется в шкафу. Граф платит деньги и договаривается увезти шкаф после перерыва. Когда магазин закрывают, из шкафа вылезает Санька Хипиш, забирает в кассе деньги и снова прячется в шкаф. После перерыва должны прийти цыгане и забрать шкаф с Санькой, но кассирша в самую последнюю минуту обнаружила пропажу денег, и магазин не открылся. Санька слышал топот, шум, ждал, когда все стихнет, уснул и вывалился из шкафа.

– Все это брехня, – после короткого молчания заявил Мотя старший. – Выдумки, никакого Графа нет.

– А кто же есть? – в вопросе Пахома сквозила ирония.

– А никого. Жулики, воруны есть. Развелось их теперь – только за карман держись. Вчера у прокурорши сумочку в трамвае срезали. Мать говорит, пятьсот рублей было.

– А у нас вчера ночью под окном кто-то ходил-ходил, потом по стеклу стал скрестись, – шепотом стал рассказывать Семен Письман, – потом как кошкой замякует, и как кто-то побегит.

– Ты-то чего боишься? – засмеялся Монгол. – У вас воровать нечего. Вот у прокурора!

– У прокурора телефон, – напомнил Пахом. – Когда у прокурорши срезали сумочку, прокурор звонил самому Леве Дубровкину.

– Дубровкина бандюги боятся как огня, – подтвердил Мотя старший. Он порядок наведет. Когда нашли убитого милиционера, помните? Милиция еще облаву на барахолке устроила? Так Дубровкин сразу убийц поймал.

– Жорик Шалыгин говорит, что Лева Дубровкин все воровские дела знает, потому что сам беспризорничал и даже в воровской шайке был.

Надолго замолчали. Лягушки сначала робко, словно пробуя голос, потом вдруг уверенно и нагло разрушили вечернюю тишину, запели дружно, и трели их заглушили все остальные звуки. Кузнечик, стрекотавший где-то рядом, испуганно умолк, уступив место пробудившейся силе.

– Играть что ли не будем? – подал голос Мотя младший.

– Да уж темнеет, – лениво сказал Каплунский.

– Мне домой пора, мать небось ищет, – нехотя поднялся Пахом.

– Мне тоже, – отозвался Самуил.

– Пошли, правда. Есть охота, – согласился Монгол.

Дома я застал заплаканную мать. Она утешала бабушку, которая в голос причитала. Отец нервно ходил по залу.

– Вовка, ешь сам! Там я тебе на столе все оставила, – сказала мать.

Я сел за стол. Из слов матери и по причитанию бабушки я понял, что Леху снова взяли. Приехал «Черный ворон», и два милиционера увезли моего горемычного неудельного дядьку.

Глава 8 Прокурорские дочери. В лес за порохом. Землянка. Гильза с предсмертной запиской. Костер. Наказание. Сон

Сквозь сон я услышал голоса матери и тети Нины. Голоса плавали по комнате и сплошным гулом лезли в уши. Потом я стал различать слова. Я проснулся, но лежал с закрытыми глазами, цепляясь еще за ниточку уходящего сна.

– Даром что красивая, а будет так перебирать и в девках останется, – слышал я голос матери. – Другая и некрасивая, а, глядишь, замуж выскочила и жить еще как будет.

– Это уж точно, – поддакивала тетя Нина. – Недаром говорится, «Не родись красивой, а родись счастливой».

– Чем Витька не жених? Воевал, собой видный, серьезный. И семья хорошая. Дядя Петя – шишка по сельскому хозяйству. Тетя Клава сроду за ним не работала.

В голосе матери слышалась обида за Витьку. Тетя Нина чуть помолчала и с матерью не согласилась:

– Да нет, Шур, простоват все же Витька для нее. – Деревенские они, а Ленку вон как воспитали, как одевают. Сейчас-то приехала к родителям из Ленинграда. В институт поступила.

– Ну, не знаю, Витька на руках бы ее носил. Уж очень они гордые.

– Насильно мил не будешь.

– Старые говорят: стерпится – слюбится. А сейчас женихи, где они? Другая рада бы хоть за какого ни на есть инвалида, лишь бы мужик был.

– А по мне, чем какой-нибудь, лучше вообще никакой, – зло ответила тетя Нина. Недовольные друг другом женщины замолчали.

– Все же Витьку жалко, извелся весь, – примирительно сказала мать.

– Ничего, от этого еще никто не умирал. Сук по себе рубить надо. И Витька твой найдет бабу попроще и думать про Ленку забудет.

В большом доме с высокими окнами напротив жил прокурор с прокуроршей и двумя дочерьми, Еленой и Эллой. Девятнадцатилетняя Елена была настоящей красавицей, и за ней робко ухаживал демобилизованный офицер Витька Голощапов. Ходил Голощапов в военном кителе без погон, в синих галифе и хромовых сапогах. Китель украшали желто-красные нашивки о ранениях и шесть медалей. Голощаповы занимали просторную квартиру в нашем доме, а окна их выходили на улицу и смотрели на прокурорские окна.

Наша ровесница Элла с нами не водилась, ее учили играть на пианино, и она изводила улицу гаммами. Кроме гамм мы от нее больше ничего не слышали. Иногда она пела под свои гаммы, голоса не хватало, и она пускала «петуха». Мы дразнили Эллу с улицы, кукарекая на все лады. Тогда ее мать захлопывала окна, предварительно обозвав нас «хулиганьем» и «босью драной».

Жили прокуроры богато, у них был телефон, может быть, единственный на улице. Позже телефон поставили переехавшим в наш двор в пустующую квартиру в кирпичном доме Григорьянам. Месроп Аванесович Григорян, отец Армена и его сестры Таты, работал в горкоме партии.

– Мам, есть хочу! – окончательно стряхнув с себя сон, заявил я.

– А, проснулся. Умойся сначала, потом будешь есть.

– Хотя бы «здравствуй» сказал, жених, – засмеялась тетя Нина.

– Здравствуйте.

– То-то здравствуйте! – ворчливо заметила мать. – Сегодня-то куда вас понесет? – От ребят отбою нет. Где носит, с кем носит? Улица, одна улица на уме, – пожаловалась мать тете Нине.

– Здоровый парень, чего ему не носиться? – заступилась за меня тетя Нина. – Пусть мускулы нагуливает.

Я не сказал, куда меня понесет сегодня, потому что сегодня мы шли в лес, куда дорога нам была заказана. В лесу оставались еще снаряды, патроны и могли быть мины. И хотя минеры поработали везде, где могли быть мины, опасность наткнуться на мину оставалась. Все еще помнили, как на mine в Медвеьем лесу подорвались братья Галкины и Толик Беляев из нашей школы. Старшего Галкина разнесло на куски, Толику оторвало ногу и ранило в голову, и он так и умер, не приходя в сознание. Младшему Галкину, наверно, потому что он шел последним, «повезло»: он лишился двух пальцев на левой руке, у него осколком вырвало щеку и контузило. Минеры еще раз прочесали лес миноискателями, но кроме мин оставались еще патроны, неразорвавшиеся снаряды, гранаты.

Тогда попало под горячую руку от матери Ваньке Пахому. Она отодрала его ремнем, приговаривая:

– Не ходи в лес, не ходи!

Мы потом спросили, заступаясь за Ваньку:

– Тетя Клава, за что вы его били, он ведь в лес не ходил.

– Знаю, что не ходил, – согласилась тетя Клава, – Только теперь уж точно не пойдет.

– Галкина хоронили в закрытом гробу. Толю несли в открытом. Но какое это имело значение! Обоих не было в живых.

После этого случая в лес ходить долго никто не решался. Потом у ребят с других улиц появился порох причудливой формы: в виде желтых цилиндриков; мелкий, черными кристалликами, и в виде палочек. Мы выменивали порох на биты, покупали на выигранные пятаки. Порох вспыхивал от спички и моментально сгорал, хорошо стрелял, если его положить на железку или гладкий камень и ударить молотком или другим тяжелым предметом...

Пойти в лес предложил Монгол.

– Там этого пороху навалом! – сказал Монгол.

– А если подорвемся? – сказал осторожный Самуил Ваткин.

– Никто не подрывается, а мы подорвемся? – в голосе Монгола была убийственная ирония, и мы нашли его довод разумным.

– Дома – никому! – предупредил Монгол и показал кулак...

По городу ехали трамваем. Сбились кучей на задней площадке поближе к дверям, пугливо озираясь на проход вагона, чтобы не прозевать кондукторшу. А когда где-то рядом раздалось: «Кто еще не взял билетки» и Монгол крикнул: «Атанда, прыгай», мы, не раздумывая, повыскакивали из трамвая. Последним прыгал Сеня Письман, прыгнул и растянулся на мостовой, быстро вскочил и, прихрамывая, побежал за нами. Следом неслись ругательства кондукторши.

– Кто ж так прыгает, дурачок? – стал отчитывать Монгол Семена. – Надо прыгать вперед и стараться пробежать за трамваем, а ты сиганул назад. Хорошо еще, мордой мостовую не пропахал. Чем стукнулся-то?

Сеня захныкал, одной ладонью утирая хлюпающий нос, другой, держась за то место, которым сдуру ударился о мостовую.

– Не ной, – Монгол хлопнул Сеню по плечу. – Не голова, пройдет.

Ближе к железнодорожному вокзалу стояло недостроенное с довоенных лет здание причудливой формы из красного кирпича.

– Миш, а правда говорят, что здание строил архитектор-фашист, и что когда смотришь на него сверху, оно похоже на фашистский знак? – спросил Пахом.

– Не на фашистский знак, а на крест, – поправил Монгол.

– А как же узнали?

– Летчик с самолета заметил.

– И что?

– Фашиста расстреляли, а дом не успели разломать, началась война.

– Брехня все, – возразил Самуил, – никакого фашистского знака нет.

– А почему ж тогда дом не достроили? – возразил Пахом.

– Да потому что не успели. Началась война, – повторил Самуил Монголовы слова.

– Ну ладно, кончай трепаться, нам надо до полудня обернуться в лес и назад, чтоб дома не хватились, – напомнил Монгол, и мы прибавили шагу.

Сразу за железнодорожным мостом город заканчивался. Короткие резкие гудки паровозов и лязг составов остались позади. Мы шагали по обочине шоссе, а по сторонам тянулись изрезанные оврагами поля с синими полосками лесов на горизонте. За ближней деревней стоял Медвежий лес.

К лесу подошли, когда солнце стояло в зените. Усталые и разморенные жарой, мы сели в тени, чуть отойдя от опушки, достали все, что смогли добыть дома: огурцы, лук и по паре сырых картофелин. Набрали хворосту и развели костер. Смотреть за костром и печь картошку оставили младших: Вовку Мотю, Семена и Армена, а сами пошли в лес.

– А то к вечеру не поспеем, – объяснил Монгол.

В прохладной, чистой, будто профильтрованной тишине леса, отчетливо слышалась дробь, выбиваемая дятлом и перекличка лесных птиц. И дятел и пение птиц лишь подчеркивали тишину, и мы тоже старались не шуметь, чтобы не разрушить эту тишину.

– Где-то здесь должна быть разбитая пушка, – шепотом сказал Монгол. – От пушки нужно идти вправо. Мне хорики говорили, что за пушкой порошу навалом.

С полчаса мы молча ходили по лесу за Монголом.

– Ну, где твоя пушка? – не вытерпел Мотя-старший.

– А я почем знаю? – огрызнулся Монгол. – Я что, «был здесь»?

– Да мы же опять на опушку вышли. Вон поле, – удивился Изя Каплунский.

– Огольцы, сюда, – донеслось откуда-то снизу. Мы пошли на голос. Из-под земли показалась голова Пахома. Пахом сидел в полузасыпанной траншее. На дне траншеи валялись гильзы из-под патронов, пустые пулеметные ленты.

– А где же пулемет? – спросил Мухомеджан. – Должен же быть какой-то пулемет.

– Хватился, – усмехнулся Изя Каплунский. – Здесь сразу после освобождения солдаты специально ходили, собирали оружие, искали документы.

Траншея привела к землянке. Накат был разворочен, несколько бревен завалились концами вниз. Пахом протиснулся через заваленный вход.

– Ну что, Пахом? – Монгол пытался разглядеть что-либо через бревна.

– Ничего! Тряпье на нарах, каска, пробитый пулями котелок... Во, целые патроны.

– Подожди, Пахом, сейчас я пролезу, – заторопился Монгол. Нас он остановил:

– Всем нельзя. Может завалить. Патроны поделим.

Пахом с Монголом долго возились в землянке, наконец, появились, сначала Монгол, потом Пахом. Подолы вымазанных глиной рубашек они держали руками.

– Много набрали? – нам не терпелось посмотреть на патроны.

– Увидите. Дайте вылезти.

Мы выбрались наверх траншеи, и Мотя с Пахомом высыпали из подолов рубах десятка два патрона, две обоймы и два больших патрона для противотанкового ружья.

– Патроны землей засыпаны, – стал объяснять возбужденный Пахом. – Там еще накопать можно.

– Про это место – никому! – наказал Монгол, – Может, еще сюда придем.

Мы без труда нашли нашу стоянку. Заждавшиеся пацаны бросились к нам навстречу.

Костер почти погас. Осталась лишь горка серого пепла, да тлеющие угли, которые от легкого дуновения ветерка вдруг вспыхивали прозрачным белым пламенем.

Палкой выгребли картошку. Набрали еще хворосту, подложили в костер и раздули огонь.
– Давайте гильзы, – протянул руку Монгол. Мы с Каплунским отдали ему несколько гильз, он бросил их в костер. Смотри, не вздумай бросить патрон! – предупредил Монгол. – Хорики бросили, Веньку чуть не убило. Хорошо, пуля только щеку царапнула. И то крови сколько было. Немного бы в бок и хана, поминай, как звали.

Обжигаясь, ели картошку, скупо посыпая солью, выгрызая горелые корки до сажи.

Раздался глухой хлопок, будто лопнула электрическая лампочка, потом второй, третий и затрещали разом нагретые в костре капсулы гильз.

– Все, салют окончен, довольно произнес Монгол, когда хлопки прекратились. – Давайте теперь потрошить патроны.

Мы нашли железки, камни и стали выбивать пули из патронов. Монгол с Мотей-старшим трудились над патронами из бронебойных ружей, где пороху было больше.

– Осторожней, не попади кто по капсулю, – строго сказал Монгол. – Так пальцы и оторвет.

– Мишка, смотри! – Каплунский держал в одной руке патрон, в другой мятый клочок бумажки.

– Я этот патрон нашел, когда собирал гильзы. Пулю отбил, а порох не высыпается, я стал ковырять сучком и вытащил. Вроде записка.

Мы обступили Каплунского! Мишка Монгол взял бумажку в руки. Она была запачкана землей по краям изгиба, на одной стороне проступали расплывшиеся в нескольких местах чернила букв, написанных химическим карандашом:

«...рощайте... овар... ументы... копа... удем... бит... о... посл... ван. Юр...» – с трудом по складам разобрал Мотя. Записка пошла по рукам.

– «Прощайте товарищи, документы закопали, – перевел Каплунский.

– А что такое «удем бит посл» и «ван Юр»?

– Наверно, «будем убиты»... не понятно. «ван Юр» – это Иван, Юра. Во-первых, слова последние, во-вторых, второе слово сразу после первого без точки начинается с большой буквы, – расшифровал Самуил Ваткин.

– Молоток, – похвалил Пахом.

– А где закопали-то? – захлопал глазами Семен. Все засмеялись.

– Дурной ты, Сеня, – сказал Армен. – Что на клочке бумаги напишешь? Да и времени у них не было расписывать. Один, наверно, отстреливался от фашистов, а другой в это время писал.

– Где еще можно закопать? – стал рассуждать Монгол. – Там же, в траншее.

– Может, поищем? – предложил Пахом.

– Думаешь, это очень просто? – усмехнулся Мотя-старший.

– Не, пацаны. Айда домой. Теперь хоть бы дотемна дойти. Небось уж ищут.

Витька мрачно сплюнул в потухший костер. Его настроение неволью передалось нам, и мы притихли.

– Место мы запомнили. Возьмем лопату и придем снова, – пообещал Монгол, но мы без особого энтузиазма восприняли его слова.

– Каплун, давай сюда патрон и записку.

Каплунский скорчил недовольную мину и попытался возразить, но Монгол выхватил у него записку.

– Давай, давай. У меня целей будет.

Он аккуратно свернул записку по старым сгибам и снова засунул ее в гильзу.

Домой мы шли быстрым шагом и почти всю дорогу молчали. Уже совсем стемнело, когда мы подходили к дому. За квартал нас встретили хорики.

– Ну и влетит вам, – радостно сообщил Венька.

Наши и без того кислые физиономии вытянулись еще больше,
– За что влетит-то? – неуверенно спросил Пахом,
– Зато, чтоб не ходил пузатый, – ехидно заметил Вовка Жирик. – Все знают, что вы были в лесу.

- Откуда знают-то? – проговорился Семен.
- Бабки видели, как вы кодрой шли к Московской улице с сетками.
- Сетка была только у меня, – полностью выдал нас Монгол.

Первым увидел свою мать Пахом. Он втянул голову в плечи и как-то спотыкаясь, кругами пошел в ее сторону. Ни слова не говоря, тетя Клава вклепила ему мощную оплеуху, и он с громовым ревом влетел в калитку. Пока я плелся к своему дому, я слышал, как в ответ на крик матери, что-то бубнил Мишка Монгол, и тоненько на одной ноте гундосил Мотя-младший. Меня мать крепко охватила за руку и, цепко держа, повела домой.

- Ну, отец с тобой поговорит, – пообещала мать.

Вот как раз отца я и не боялся. Перед ним я чувствовал скорее стыд, чем страх. С отцом мы ладили, и он понимал меня. В конце концов, я был просто мальчишкой, и со мной время от времени случались всякие истории.

На этот раз, после неприятного объяснения с отцом, мать настояла, чтобы я никуда не выходил и недельку посидел дома.

- После этого мне больше ничего не оставалось, как заняться чтением.

Наша домашняя библиотека помимо книг по истории, философии религий, и самих религиозных книг, давнего увлечения отца, от Библии и Евангелия и нескольких томов «Четьи-Минеи» дореволюционного издания, где содержались описания жития святых, до атеистических, типа «Бог Иисус» Андрея Немоевского, переведенной и изданной в Петербурге уже в 1920 году, регулярно пополнялась литературой вроде «Экстрасенсорное восприятие» Р. Райна, «Физико-химические основы высшей нервной деятельности» Л. П. Лазарева, «Неврогипнология» Дж. Брайда и массой других, дореволюционных и довоенных, переведенных на русский язык, и отечественных книг.

В этих книгах отец искал ответы на вопросы, касающиеся моих «психических отклонений», хотя я сам, признаться, не сильно тяготился тем, что слышу звуки, которые не слышат другие, а над цветами вижу радужное свечение.

Я иногда смотрел эти книги, но, честно говоря, ничего не понимал: что-то о процессе принуждения чужой воли, о физической энергии, о том, что все виды материи обладают физиологической энергией, о том, что почти все мы обладаем экстрасенсорными способностями, и так далее. Все научно и неинтересно.

Я нашел «Мадам Бовари» Гюстава Флобера. Мне было очень любопытно узнать, что в ней такого, что мать проревела над ней весь день. На десятой странице я чуть не заснул, положил книгу на место, взял «Трех мушкетеров» Александра Дюма и ушел в нее с головой. . .

Мне снился странный сон. Что-то неясное, иногда различимое, иногда смутное, словно подернутое пеленой. Танки, взрывы, солдаты суетятся вокруг пушек. Все это виделось словно в тумане. И скорее это даже было не действие, а ощущение, что идет бой. Но в какой-то момент яркая вспышка выхватила одно место, и меня словно бросило в окоп на опушке леса. Я оказался среди солдат, и бой стал сразу реальностью.

На нас шли танки. Солдаты стреляли из противотанкового ружья, потом били из пулемета по пехоте. И, казалось, что бой длится вечно. Их осталось двое, и один был ранен в голову. Пуля скользнула по волосам, содрала кожу, и кровь обильно текла, заливая глаза. Перевязался только тогда, когда отступила в очередной раз пехота. А до тех пор стрелял, вытирая глаза рукавом грязной и потной гимнастерки. Уже молчали фланги, но они не могли отступить, потому что отступить приказа не поступало. Сейчас опять пойдут танки. Раненный вырвал из маленькой записной книжечки листок, свернул его пополам, разорвал и стал писать химическим каран-

дашом, часто слюнявя его. Потом свернул клочок бумаги в несколько раз, засунул в пустую гильзу и заткнул пулей, выбитой из целого патрона, что-то беззвучно сказал товарищу, и тот вынул из кармана документ и протянул его раненому. Теперь танки обходили их, и бой шел уже где-то за лесом, а на них двигались во весь рост черные фигуры, презирающие смерть и готовые смести, раздавить и разметать эту последнюю непокорную точку усмиренного пространства, все еще изрыгающую раскаленный свинец, и это был конец...

Танки, пушки, люди стали стремительно уменьшаться, и я завис над всей этой панорамой, наблюдая, как подергивается дымкой, растворяется и уплывает мой сон.

Глава 9 Дядя Павел. Встреча. Последствие ранения. Я лечу дядю Павла. Невеста дяди Павла

Дядя Павел пришел с фронта год назад, и я впервые увидел его мужчиной, потому что на войну он ушел в семнадцать лет, и ему тогда было всего на три с половиной года больше, чем мне теперь...

Первой его узнала бабушка. Он стоял в солдатской форме, с чемоданом в руке и с вещмешком за плечами, нерешительно оглядывая двери и не зная, в какую войти.

Из окон на него с любопытством смотрели соседи. Бабушка схватилась за сердце, зачем-то стала ощупывать себя, поправила пучок волос, собранный на затылке, и все это на ходу, вываливаясь на улицу, на, ставших вдруг непослушными, ногах.

– Пашенька, сынок! – с каким-то всхлипом выдохнула она и повисла на дяде Павле, и обмякла вдруг, сразу ослабев. Дядя Павел подхватил ее, прижал к себе, гладил по голове и тихо повторял: «Мама! Родная моя!»

Следом за бабушкой выскочила мать с Олькой. Ольга узнала брата, но стояла в стороне, не решаясь подойти.

Из квартир стали выходить соседи, и бабушка, одуревшая от счастья, сквозь слезы объясняла: «Сын, Паша вернулся!»

Мать внесла вещи в квартиру и, оставив их в прихожей, служившей и кухней, провела дядю Павла в зал, усадила на диван, села сама, но тут же вскочила.

– Ой, да что же мы! Тебе ж умыться надо с дороги, – спохватилась мать и потащила дядю Павла к умывальнику, достала из комода чистое полотенце и стояла, смотрела, как по пояс голый брат фыркает, разбрызгивая воду, обдавая себя из сложенных лодочкой ладоней, и шумно хлопая подмышками. Был дядя Павел худ, и лопатки по-детски выпирали, натягивая кожу так, что, казалось, вот-вот порвут ее. Бабушка, зажав рот рукой-горсточкой, с жалостью глядела на сына, а когда он повернулся к матери за полотенцем, глаза ее споткнулись о бледный до поганочной голубизны, какой-то прозрачный и непрочный шрам. Я кожей ощутил ту физическую боль, которую почувствовала бабушка и которая, должно быть, сразила ее Павла, и теперь завывала в голос, запричитала. Мать захлопотала вокруг бабушки. Дядя Павел растерялся:

– Да что ты, мам? Живой ведь вернулся, – стал он неловко успокаивать бабушку.

Мать затолкала бабушку в зал и недовольно выговаривала:

– Ну, хватит, хватит! Как по покойнику, ей богу!

Бабушка скоро успокоилась. Когда, застегивая на ходу гимнастерку, в зал вошел дядя Павел, моя мать опять засуетилась.

– Мам, почисти картошки. Небось голодный? – повернулась она к брату.

– Да нет, я перекусил в буфете с одним приятелем.

Ну, тогда ладно. Я сбегая за Юрием Тимофеевичем, может пораньше уйдет с работы. Ты хоть Юрия Тимофеевича помнишь?

– Помню, – кивнул дядя Павел.

Мать обернулась скоро. Она достала из хозяйственной сумки бутылку водки с коричневой сургучной головкой, поставила на стол и, весело посмотрев на брата, пошла на кухню помогать бабушке.

Пришел отец. Дядя Павел стоял, опустив руки и растянув губы в застенчивой улыбке. Он не знал, как теперь обращаться к отцу, и от этого чувствовал неловкость. Я помнил, что до войны он звал отца дядей Юрой, слушал с открытым ртом и ходил за ним собачонкой. Конечно, тогда он был пацаном, а теперь сам мужик. Говорят, что на войне за год три идет. Тогда дяде Павлу сейчас, считай, за тридцать.

– Ну, давай обнимемся что-ли, герой! – отец обнял дядю Павла, и они расцеловались,
– Возмужал, посуровел, – отметил отец, разглядывая дядю Павла. – Видно, что пороху понюхал.

– Пороху понюхал! – серьезно согласился дядя Павел. Глаза его сразу потускнели, ушли в себя, и он стал похож на умудренного жизнью старика.

Отец взял дядю Павла за плечи, усадил на диван и, покрутив в руках бутылку водки, одиноким реквизитом стоявшую на столе, сказал:

– Давай-ка по маленькой, пока женщины обед сообразят.

Он принес из кухни два граненых стакана и миску с огурцами, налил по-чуть водки.

– Ну, за то, чтоб больше войны не было.

Они выпили.

– Хороши огурчики, Тимофеич! – неожиданно нашел форму обращения дядя Павел.

– Со своего огорода, – похвастался отец. – Нам нарезали пять соток, здорово выручает.

Семья-то: нас трое, да детишки. Не знаю как бы мы без огорода.

– Я как устроюсь, мать с Олькой возьму, – сказал тогда дядя Павел.

– Ну, это ты брось! – обиделся отец. – Разговор не об этом. Всем сейчас тяжело.

– Да нет, Тимофеич, – смутился дядя Павел. – Я не в обиду. Хочу, чтоб мать со мной жила.

Вошла бабушка с кастрюлей подогретых шей. Мать поставила на стол селедку, сало, принесла в большой миске дымящуюся, целиком отваренную картошку.

Уселись за стол, дядя Павел остался с отцом на диване. Разлили водку: мужчинам в стаканы, женщинам в граненые рюмочки.

Мы с Олькой пили из чайных чашек квас. Мать стала наливать в тарелки щи. Отец встал со стаканом и сказал, обращаясь больше к бабушке:

– Ну, мать, дождалась! И война кончилась, и сын живой вернулся. Давайте до дна, за встречу.

Пока ели щи, молчали, только алюминиевые ложки звякали о тарелки. От второй рюмки женщины отказались, и мужчины допили водку одни. Насытившись и чуть захмелев, заговорили.

– Тимофеич, я по последнему письму понял, что ты за границей был?

– Был, – подтвердил отец. Усмехнулся и добавил: – Да чуть там совсем не остался.

– Это как? – не понял дядя Павел.

– Долгая это история, Паша. Я стараюсь не вспоминать, – отец поморщился как от зубной боли, но, поймав вопросительный взгляд дяди Павла, неохотно стал рассказывать:

– Сопровождали мы груз через границу и попали в засаду диверсионной группы. Я чудом выжил. Считаю полгода в госпиталях валялся. Два месяца в Тегеране, три – в Ашхабаде... А сейчас приступы донимают. Голова.

– Ой, Паш, как я с ним намучилась, – плаксиво отозвалась мать. – Ведь как приступ начинается, на стенку лезет. Если б не Вовка, давно бы в Кишкинку попал. Потому и «скорую» боюсь вызывать. Как-то раз, когда Вовку где-то с ребятами носило, – мать строго посмотрела в мою сторону, – вызвала, а его в Кишкинку отвезли. Спасибо, сама с ним поехала, да еле уговорила, чтобы отпустили, да расписку заставили писать, что, мол, несую ответственность. Потом уж Вовка, слава богу, явился... Там не разбирают, нормальный ты или ненормальный. Глаза-то в это время безумные. Попробуй, вытерпи такую боль!

– А Вовка-то что? Чем Вовка-то помогает? – спросил дядя Павел.

– Да лечить он руками, Паш, может. Способности у него такие. Руки излучают какое-то тепло особое, – зашептала мать.

– Это что ж, колдовство какое, вроде как знахарь? – удивился дядя Павел.

– Дар это божий, сынок. Господь ему послал, – вмешалась бабушка и прочитала на память елеиным голосом: «Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки её, и она встала и служила им».

– Мам, опять ты с глупостями своими, – осадил мать бабушку.

– Это не глупости, это Евангелие от Матфея, – усмехнулся отец.

– Попом бы тебе, Юрий Тимофеич, быть. И Библию, и Евангелие знаешь, – одобрила бабушка. Она робела перед отцом и обращалась к нему не иначе как Юрий Тимофеевич. Юрой отца называла только мать, но в третьем лице тоже звала по имени-отчеству. Был он намного старше матери и относился к ней со снисходительностью старшеклассника к младшему.

– Нет здесь никакого колдовства, Павел, – повернулся к дяде Павлу отец. – Это научный факт. В научной литературе описаны случаи исцеления с помощью рук, которые являются источниками энергии. Более того, все мы – и я, и ты – обладаем этой энергией. Только некоторые люди обладают этой энергией в большей степени.

– Сынок, поддержи руки над цветами, – попросил меня отец.

На этажерке с книгами в двухлитровой банке стояли тюльпаны. Их головки уже закрылись, будто цветы приготовились к ночному сну. Я с большой неохотой вылез из-за стола и подошел к этажерке, потер руки одну о другую. Сухие ладони прошуршали смятым листом бумаги. Я стал гладить цветы, не прикасаясь к ним. По комнате разнесся легкий запах свежести. Бутоны зашевелились и стали распускаться. Дядя Павел как зачарованный смотрел на тюльпаны.

Как же так, Тимофеич, я не понял? – вымолвил сбитый с толку дядя Павел. – Он их даже не трогал. —

– Я же говорю тебе, что руки источают энергию. Это все равно, как цветы раскрываются на солнечный свет.

– Чудно! – покачал головой дядя Павел.

– Он много чего умеет, – сказал отец. – Ты ещё увидишь.

– А лучше б ничего не умел. Был бы как все нормальные люди. А у этого то запахи, то звуки, то сны какие-то ненормальные. И видит-то не то, что надо. А ночью подойдешь, лежит – не дышит. И не знаешь, то ли жив, то ли нет.

Мать заплакала.

– Да что ты, ей богу! – отец недовольно нахмурился. – Нормальный парень. И все у него нормально. Спасибо сказать нужно за то, что природа одарила его такими способностями. У него же, Павел, феноменальная память. Он страницу любой книжки может повторить за тобой без единой ошибки.

– Чудно! – повторил дядя Павел и внимательно поглядел на меня.

Я сосредоточенно ковырял вилкой картошку и облегченно вздохнул, когда мать неожиданно вернулась к недосказанному и наболевшему.

– Полгода известий никаких не было. И писем нет и похоронки нет. А приехал худой, в чем только душа держалась. Он и сейчас-то худой, а тогда чуть толкни и упадет. Тут чирьи по всему телу пошли. Избавились от чирьев, заснул. День спит, ночь спит и утром не просыпается. Я будить, а он не дышит. Ну что есть мертвец. Вот так иногда и Вовка. Чего и боюсь. Может, проснется, а может, нет.

Отец молчал, только брови сошлись на переносице, обозначив три вертикальные складки на лбу, а пальцы нервно выбивали дробь по столу.

– Перепугалась я, Пашенька, до смерти. Вызвала врача, а врач и говорит: «Это летаргический сон. Может быть, несколько суток проспит, а может быть, и месяцев. И ни в коем случае не пытайтесь будить. А мы будем следить, поддерживать глюкозой. Глянул на меня, а я сама как мертвец. Как заругается он. Да вы, говорит, себя-то пожалейте. Разве, говорит, можно

так. Ничего же страшного не случилось. Сильное нервное истощение. Все обойдется. Ему укол сделал, да и мне заодно.

Павел, не перебивая, слушал и с невольным любопытством поглядывал на отца. Тот чувствовал себя неловко и, наконец, недовольно бросил матери:

– Ну ладно, хватит об этом. Кому про чужие болячки слушать интересно? У каждого своих полно.

– погоди, погоди, Тимофеич! – остановил отца дядя Павел. – И что же потом? – спросил он мать.

– Да что? Проснулся через три дня. Не знаю, то ли Вовка, – он же не отходил от отца, все гладил его. А может сам по себе проснулся, – устало проговорила мать.

– Шура, сходи в магазин, принеси еще поллитровочку. Что нам, мужикам, одна? Не каждый день родственники с войны приходят, – попросил отец.

Мать замялась и как-то виновато взглянула на Павла. Я понял, что ей стыдно сказать при брате, что у неё осталось денег в обрез до отцовской полочки. Но она встала и пошла в их с отцом комнату к шифоньеру, где под бельем хранила завернутые в ситцевую косынку деньги. Дядя Павел достал из кармана гимнастерки две новенькие сотни и хотел отдать матери, но отец отвел его руку:

– Ты спрячь свои деньги. Еще успеешь потратить. У нас пока есть, а там посмотрим.

Дядя Павел заупряился, и мать при молчаливом согласии отца деньги взяла.

Мать ушла. Вслед за ней встала из-за стола бабушка, собрала грязную посуду и унесла на кухню. Оляка выпорхнула следом, а я с живым интересом слушал разговор отца с дядей Павлом.

– Сам-то ты как? Ничего ж еще не рассказал, – спросил отец.

– Да я писал, – уклончиво ответил дядя Павел.

– Ну, письма – это одно, а жизнь – другое. Как-никак, пол-Европы прошагал, до самого Берлина дошел. Как там Европа-то?

– Европа как Европа. Что с ней, с Европой делается? Много чудного, конечно... а народ ихний хороший. Их запугали коммунистами и потому нас встречали с опаской, недоверчиво, а потом разобрались, ничего. Видят, что мы не зверствуем, как фашисты, никого не трогаем, детишек подкармливаем...

– Русский народ отходчив, – подтвердил отец.

– Отходчив-то, отходчив, да всякой доброте есть предел, – возразил Павел. – Что делал немец с нашими людьми! Насмотрелись, век не забыть. И детишкам и внукам передам. Кто видел, тот не забудет... Стариков, детей расстреливали, над женщинами измывались, целые деревни жгли. Мы по Белоруссии шли, так волосы дыбом вставали. А про концлагеря знаешь?

– Слышал, много писали, – отозвался отец.

– В Польше один такой освободать пришлось, Майданек, недалеко от Люблина. Камеры специальные придумали, людей газом удушали. Нас встретили не люди, а полумертвецы, кожей обтянутые кости... Многие, особенно те, у кого родных замучили, люто немцев ненавидели. Тогда, перед вступлением в Германию приказ Жукова вышел об отношении к мирному населению и о мародерстве. Приказ и сдерживал. А то расстрел, без всякого трибунала...

Дядя Павел замолчал. Отец положил на стол вилку, которую крутил в руках, пока говорил дядя Павел, и задумчиво сказал, словно отвечал на свою мысль:

– Проводили здесь у нас по городу колонну пленных немцев, тех самых, которые нашу землю топтали, города жгли, а женщины смотрели на них с сочувствием. Какая-то старушка выскочила из толпы, подбежала к колонне и стала раздавать сухари.

– Я бы этой старушке всыпал по первое число, – зло сказал дядя Павел. – Нашла, кого жалеть. Небось при фашистах подолом пыль перед ними мела.

– Не скажи. Вон мать говорит, что у нее двое сыновей с войны не вернулись. Просто русский человек по природе добр и отходчив. Доброта у него в душе заложена.

– Добр-то добр. А как быть, когда войне, считай, конец, а в тебя, сволочи, из-за угла палят. Сколько, нашего брата в последние дни полегло!

Дядя Павел надолго замолчал. Отец тоже ушел в себя, и установилась какая-то неприятная, напряженная тишина. Первым очнулся Дядя Павел:

– А ты, Тимофеич, стало быть, в Персии был?

– В Иране. С 1935 года Персия Ираном называется, – поправил отец. – Я был в Тегеране, в группе Советских войск.

– В Тегеране проходила конференция трех держав. Нам политрук рассказывал. Товарища Сталина видел?

– Ну, меня уж к тому времени там не было. Конференция в ноябре сорок третьего проходила. Так что, не довелось.

– А что за народ персидский? За нас он или нет?

– Да как тебе сказать? За нас или не за нас. Они про нас мало что знают. Девяносто процентов неграмотных, самосознание у людей низкое. Хотя в 1905 году там тоже своя революция была. Правда, это ничем не кончилось, революцию подавили... В Иране очень малочисленный рабочий класс.

– А так они, наверное, все же за нас, – подумав, сказал отец. – Народ там разный. Коренные жители, персы, составляют лишь половину населения. Много иранских азербайджанцев, курдов. Есть ещё луры, арабы, теймуры, туркмены и много других национальностей. Но народ там, скажу тебе, доведен до такой нищеты, что дальше некуда. Дети шести-семи лет работают как взрослые по 13 – 14 часов в сутки. Делают ковры. Стоит выйти на улицу, как на тебя набрасываются, чуть не на части рвут: «Хуб, хуб, бедухин». Дай, значит, денег, господин. Но нам категорически запретили подавать. Жалко их, первое время никак не мог привыкнуть. А что делать? Всех ведь не оделишь... Многие даже не могут себе жены купить.

– Как купить? – удивился дядя Павел.

– Ну, как у нас в некоторых среднеазиатских республиках было? Нужно заплатить калым, то есть, фактически купить жену. Так вот, самые нищие живут с ослицами.

– Ну, ты наговоришь, Тимофеич. Как это с ослицами жить можно? – Дядя Павел невольно покраснел, и глаза его расширились от изумления.

Глаза отца улыбались, и непонятно было, всерьез он говорил это или шутил.

– Чудно! – в который раз повторил дядя Павел, покачав головой. – Чего только на свете не бывает!

– А в магазинах драли с нас втридорога. С англичан одну цену просят, а с нас дерут. Дело в том, что наше командование строго-настрого запретило торговаться. Вскоре, правда, для нас советские магазины открыли.

Дядя Павел вдруг зашелся в кашле. Кашель давил его, гнул к полу. Дядя Павел тер грудь ладонью, словно раздирал её, и никак не мог остановить приступ. Он достал из кармана галифе кисет с махоркой и, сложенную в несколько раз до маленьких, папиросного размера, квадратиков, газету; дрожащими руками, рассыпая табак от судорожных конвульсий тела, скрутил сигарку и закурил. Кашель постепенно отпустил.

– Ты последний раз писал из госпиталя, ранен был. Тяжело? – спросил отец, сочувствуя.

– Да, осколком в грудь в битве за Правобережную Украину. Корсунь-Шевченковская операция, может, слышал? Три осколка вынули, а один в лёгких остался. Своих догонял уже, когда вышли к Висле, в Польшу вступили.

– Может курить не надо? – посоветовал отец.

– Закурю, вроде легче становится, проходит.

Отец встал и прошелся по комнате. Пришла мать. Поставила водку на стол и пошла на кухню. Вскоре они с бабушкой принесли чистые тарелки, вилки. Снова сели за стол. Отец налил дяде Павлу, себе и матери.

– погоди, Тимофеич, я совсем забыл, – остановил дядя Павел отца, когда тот взял стакан с водкой. – Я же всем гостинцы привез. Ну-ка, сестренка, где там мой чемодан? Неси сюда.

Мать принесла чемодан. Дядя Павел присел на корточки, расстегнул ремни, открыл замки, откинул крышку и стал вытаскивать подарки. Бабушка получила пуховый платок. Она, даже не разглядев его, прижала к груди и не могла вымолвить ни слова, а глаза её сияли, хотя в них стояли слезы.

Матери дядя Павел подарил черное бархатное платье, расшитое бисером, и черные замшевые туфли. Мать расцвела маковым цветом. Она приложила платье к себе, оно доставало до пола.

– Ну, куда я в нем? – прерывистым от волнения голосом проговорила мать. – Это только артистке в таком ходить.

– Ничего, сестренка, – уверил дядя Павел. – Ты у нас не хуже другой артистки.

Отцу дядя Павел преподнес опасную бритву и зажигалку.

– Зеленгеновская сталь, – довольно отметил отец, разглядывая лезвие. – А это.. гляди-ка, во Европа!

Отец со смешком отдал зажигалку матери. На зажигалке была наклеена обнаженная женщина. Она стояла в вольной позе, отставив бедро в сторону, подперев его рукой и подмигивая одним глазом.

– Срамники, – стыдливо засмеялась мать и не стала смотреть, сунув зажигалку обратно отцу.

– Ну-ка, мам, зови Ольку, – приказал дядя Павел.

Через минуту, будто ждала, что её позовут, запыхавшаяся Ольга сама влетела в комнату. Её тощее тело пульсировало от частого дыхания.

Мне досталась курточка с короткими штанами на помочах, которые я так никогда потом и не надел, Ольке большой кусок парашютного шелка яркого оранжевого цвета на платье.

От второй бутылки мужчины запьянели, разговор принял бессвязный характер, дядя Павел стал перечислять пофамильно своих боевых товарищей, скрипел зубами и все пытался показать свои раны: то задирает гимнастерку, то засучивал рукава. Тоже захмелевший, но более сдержанный, отец мягко останавливал дядю Павла. Неожиданно дядя Павел запел. Пел он плохо, задыхался, часто глотая воздух на середине слова, и из легких вместе со словами вылетал какой-то клекот:

А по диким, а степям, а Забай-а-калья,

А где золото, а руют, а в гор-ах...

– Бродяга, судьбу проклиная, – подхватила было мать, но не смогла подладиться под брата и замолчала. Отец сосредоточенно молчал, тяжело поднимая слипающиеся веки...

Спал дядя Павел на диване. Ночью он что-то яростно выкрикивал, нецензурно ругался; раза два вскакивал и сидел, тяжело дыша, глядел перед собой дурными глазами, пил воду, закуривал и, успокоившись, укладывался снова.

Утром завтракали целой картошкой и свежими огурцами. Дядя Павел от картошки отказался, но выпил стакана три чая, тошнотворно сладкого от нескольких кристалликов сахара, и отправился в военкомат.

Вернулся дядя Павел поздно. Был он выпимши и принес бутылку с собой. Нам с Олькой протянул кулек карамели, бутылку поставил на кухонный стол.

– Не надо б водку-то, Паш, – заметила моя мать. – Деньги-то пригодились бы.

– Ничего, сестренка, деньги дело наживное, – с хмельной бесшабашностью возразил дядя Павел. – Да я уже направление на работу получил. Так что, скоро работать начну.

– Куда определили-то, сынок? – спросила бабушка за ужином.

– Предложили в воинскую часть. Завтра схожу, посмотрю, что да как?

– Не надоела армия-то? – отец мыл руки и теперь шел к столу.

– А куда мне ещё идти? – нахмурился дядя Павел. – Я семнадцати лет на фронт пошёл.

После семилетки в колхозе работал. Навоз возил, да коров пас. Чему я научился? Что умею?.. Меня стрелять научили. Это я могу, это у меня получается... Военком тоже спросил: «Ну, сержант, как жить дальше собираешься, куда определяться будем? Со здоровьем как?» А как со здоровьем? В легких осколок, рука немеет, временами как не своя, пулей кость задета. От контузии голова до сих пор как ватой набита, в ушах звон. В общем, весь сшитый и залатанный. «Да в документах, говорю, товарищ майор, все записано». «Вижу, солдат, что инвалид, потому и думаю, куда тебя пристроить. На завод тебя, говорит, пока не пошлешь, на стройку тоже. Вот есть у меня, может, подойдет. Воинской части требуется зав складским хозяйством, должность старшинская. Ну, ты человек грамотный, семилетка. Думаю, подойдешь». Чего тут рассуждать? Взял я направление, откозырял и ушел. Завтра видно будет.

– Так-то оно так, – согласился отец. – Только вот материальная ответственность. Не боишься?

– Волков бояться – в лес не ходить, – беззаботно ответил дядя Павел. – Я в части каптенармусом почти год служил... Ладно, это потом, а сейчас, Тимофеич, лучше давай выпьем.

Через два дня дядя Павел уже работал. Ему выдали новое обмундирование. Все офицерское, с иголочки, из добротной диагонали. Только на погонах вместо звездочек была выложена старшинская буква «Т».

– Ну, как? – спросил отец, когда дядя Павел отработал первый день.

– Нормально, – пожал плечами дядя Павел. – Принимай, выдавай, да веди отчетность.

– Смотри, аккуратнее с документами, – предостерег отец.

В тот вечер я по просьбе отца стал лечить дядю Павла. Тогда я даже не мог представить, какое это будет иметь последствие и для нас с отцом, и для дяди Павла.

Дядя Павел дышал тяжело, в груди что-то клокотало, и он долго и мучительно кашлял, но еще больше его беспокоила рука: дядя Павел кроме ранения в грудь перенес ранение в руку. Пораженная рука плохо слушалась и немела. Ко всему прочему давала знать контузия. В госпитале дядю Павла кое-как подлечили, но все же был он плох.

Во время первого нашего сеанса дядя Павел не очень охотно, только чтобы не обидеть отца, снял с себя нижнюю рубашку, скептической улыбкой давая понять, что все это баловство, и толку от этого он особенно не ждет.

Левая, больная рука дяди Павла, была холоднее, чем все тело. Мне сразу бросилась в глаза разница между свечением вокруг правой и левой руки. Вокруг больной руки, как и вокруг головы, мерцал синий холодный свет, но с ясно выраженными темно-красными очагами поражения, а вокруг правой свет играл голубоватым цветом с теплым зеленым равномерным оттенком. Я положил больную руку дяди Павла поудобнее, провел ладонью вдоль руки и стал водить руками сверху вниз, не касаясь ее. Потом подержал руки над небольшим, еще не огрубевшим шрамом. Медленно, но заметно цвета стали меняться – синие позеленели, зеленые порозовели, а в некоторых местах начали краснеть. Зато красный очаг стал бледнеть. Это означало, что температура тела на поверхности возросла, а болевой очаг рассасывается.

– Что-нибудь чувствуешь, дядя Паша? – спросил я, зная заранее ответ.

– Горячо, жжет и покалывает! – удивленно сказал дядя Павел.

– Это хорошо, дядя Паш! – усмехнулся я и перевел руки на голову.

Минут через десять я погрузил своего дядьку в сон и стал внушать, что у него заживают раны, а голова проясняется, исчезает шум и утром он встанет бодрым, с хорошим настроением.

Дядька ни свет, ни заря поднял меня с постели и стал на весь дом орать, что у него перестала ныть рука и в ней появилась сила, стало легче дышать, а в голове нет никакого шума.

Дядя Павел непрерывно сжимал и разжимал кисть больной руки, демонстрируя ее силу. Кисть и правда стала работать лучше, но я видел, что со всей силы до конца сжать ее еще не может. Он как заведенный повторял: «Племяш, племяш мой дорогой!» и смотрел на всех счастливыми глазами.

Неделю, каждый день я проводил с дядей Пашей свои сеансы, не забывая про гипноз. В конце концов, рука у дяди Павла стала работать почти как правая, его перестал бить кашель, и хотя одышка еще оставалась, дышать ему стало легче. Голова тоже пришла в норму. Но, главное, во сне он теперь не кричал и не ругался, по ночам не вскакивал и спал относительно спокойным сном. А через неделю наши лечебные сеансы прекратились.

Дядя Павел привел девицу с быстрыми зелеными глазами и неумело накрашенными яркой помадой губами в форме откровенного сердечка. Маленькая и смешливая, она казалась совершенной девчонкой, но изо всех сил старалась выглядеть выше и взрослей, поэтому носила туфли на высоких каблуках и замысловатую прическу из собранных за ушами волос, веером спадавших завитыми концами на плечи. На затылке чудом держалась шляпка «минингитка». Модное креп-жоржетовое платье с алыми розами по небесно-голубому полю, с высоко поднятыми плечиками, шито было явно не по ней, и хотя она подогнала его под свой рост, висело на ней, как на вешалке.

После, мать, кипя от негодования и еле сдерживая слезы, говорила отцу: «Платье-то из Пашкиного чемодана. Вот дурак-то. Первая встречная облапошила. И уже спали вместе. Заметил, как его мужская гордость распирает?»

– Познакомьтесь, Варя, – дядя Павел явно любовался своим сокровищем.

Сокровище хихикнуло в кулак. Матери с бабушкой девушка сразу не понравилась. Мать с кислой миной пожала протянутую Варину руку, а бабушка, поджав губы, ушла на кухню. Вслед за ней вышла и мать. Отец радушно предложил Варваре сесть и, выглянув на кухню, попросил чаю. За чаем дядя Павел объявил, что они с Варей решили расписаться. Варвара опять хихикнула, а бабушка тихонько заголосила. Мать закусил губы и молчала. Отец, по обыкновению, забарабанил пальцами по столу, потом сказал:

– А вы не спешите? Так вот вдруг... Я вот, Паша, к вам целый год ходил, пока с Шурой поженились.

– Да тогда другое время было, – возразил дядя Павел недовольно. – Да и чего тут знать еще нужно. Варя, вот она, вся налицо.

– Вы где познакомились-то? – спросил отец.

– Да на работе же, – засмеялась Варвара. – Мы работаем вместе.

– Варя связистка, – пояснил Павел. – И на фронте связисткой была. Награды имеет.

– Так вы воевали? – удивился отец. – Сколько же вам лет?

– У женщин про возраст не спрашивают, – кокетничая, сказала Варвара и опять хихикнула.

– Да-да, конечно! – смутился отец и молчал до самого конца чаепития.

Когда дядя Павел с Варварой ушли, мать дала волю раздражению:

– Это ж надо! Ну, нашел. Это ж, каким дураком нужно быть! Кругом столько девок, только помани, любая пойдет. А он нашел. Да была б хоть баба приличная! А то... глядеть не на что. Ни кожи, ни рожи, глупа, да еще фронтовая подруга. Бабушка молча плакала и только согласно кивала головой.

– Хоть бы ты поговорил с ним, – потребовала от отца мать. – Может, тебя послушает. Ведь вокруг пальца обвела, окрутила парня. Я понимаю, чем она его взяла. Он же бабы по настоящему еще не видел. Ночь провел, так скорей жениться. Платье вон подарил.

– Так он меня и послушает. Поговорить-то я поговорю, только насильно ведь не запретишь, – неохотно согласился отец и, видно было, что ему неприятен этот разговор.

Вечером, когда все собрались за столом, отец спросил дядю Павла напрямик.

– Паша, ты что это насчет женитьбы, серьезно?

– А что? – вскинулся Павел. – Не нравится?

– Я не могу ничего сказать о ней плохого, – уклончиво начал отец, но мать его перебила и с возмущением стала выговаривать брату:

– Да ты разуй глаза! С кем ты связался? Другие таких бросают, а он подобрал. Неужели лучше не нашел? – Глаза ее сузились и из синих стали черными.

– И чем же она плоха? – стал закипать дядя Павел. – Девушка как девушка, не хуже других.

– Девушка! – в голосе Нины была и ирония, и презрение, и насмешка.

– Знаем мы этих девушек, которые с фронта... Девушки здесь, в тылу работали и мужчин своих ждали.

– Прекрати! – кровь бросилась в лицо дяди Павлу, и, багровый, он вскочил с места. – Ты говори, да не заговаривайся. Всякие и здесь были. И там были настоящие. Тебя бы туда, в ад этот...

– Не я одна, все знают, как к ним на фронте относились, – чуть тише, но упрямо проговорила мать.

– По-товарищески относились и берегли.

– Ну, эта не из тех, – отрезала мать.

– А тебе почем знать, из каких она?

– А по ней видно!

– Хватит чушь молоть! – не выдержал отец, – Не нам судить.

Отец нервно забарабанил пальцами по столу, задержалась вдруг щека, но лицо казалось спокойным. Мать сразу замолчала и испуганно следила за отцом.

– Пашенька, сынок, – подала голос бабушка. – Ты прежде узнал бы ее получше. Дело-то серьезное. Недаром говорится: «Семь раз отмерь, один отрежь». Погоди маленько.

– Ладно! – стиснул зубы Павел. – Не вам, мне жить.

Он встал и пошел к двери. Отец хотел остановить его, но Павел предупредил:

– Не надо, Тимофеич, – и соврав: «Я сегодня в ночь дежурю», вышел.

На следующий день Павел пришел за вещами. Ему было неловко уходить сразу, и он посидел немного. Мать хотела замять вчерашнюю ссору, но не знала с какими словами подступиться к брату. Дядя Павел первый сказал, обращаясь к отцу:

– Мы как немного обживемся, позовем к себе.

– Паша, прости меня, – заплакала мать. – Я же хотела, как лучше. Если б я тебя не любила...

– Ладно, сестренка, все перемелется, – охотно простил Павел.

– Ты Варю-то приводи к нам, не стесняйся. Надо же нам теперь поближе как-то познакомиться, – сказал отец. – Раз уж такой оборот... будет родственница нам.

– На этом спасибо, Тимофеич! – растрогался дядя Павел. Он попрощался с отцом за руку, поцеловался с матерью, обнял бабушку, которая стояла мумией у дверного косяка, за все время не проронив ни слова.

Глава 10 Неожиданный телефонный звонок. У генерала. Больная дочь. Состояние измененного сознания. Генеральский дом. Странная болезнь

А вскоре случилась эта история, не без участия дяди Павла, история, которая дала нам высокого покровителя в лице начальника очень серьезной организации. С тех пор в нашем доме поселилась тайна. Отец сразу запретил даже упоминать обо всем этом в постороннем разговоре. Вслух не назывались ни имена, ни должности...

Однажды отец пришел с работы раньше обычного. Он был чем-то расстроен, сразу прошел в зал и позвал нас с матерью.

– Ты что, заболел? – встревожилась мать.

– Да нет, здоров, – отмахнулся отец. Они с матерью сидели на нашем стареньком диване с откидными валиками, я – у стола на стуле.

– Кажется, мы попали в большую неприятность.

Мать побледнела и схватилась за сердце.

– Да погоди ты, ничего еще не случилось.

Отец чуть помолчал, как бы собираясь с мыслями, поглядел на меня, как мне показалось, с жалостью, вздохнул и стал рассказывать.

Утром отцу позвонили в отдел. Он снял трубку и представился:

– Анохин.

– Здравствуйте Юрий Тимофеевич. Вам звонят из управления госбезопасности, – раздался мягкий голос на другом конце.

– Я вас слушаю, – голос отца сразу «сел».

– Не могли бы вы к нам подъехать, скажем, часикам к 13. Машину мы за вами пришлем.

– Да я могу сам, – растерялся отец. – Здесь недалеко.

– Ну, зачем же? Без четверти час вас будет ждать «Эмка» у подъезда. С вашим начальством вопрос согласован.

– Простите, а по какому вопросу? – у отца пересохло горло.

– На месте все узнаете. Да вы не волнуйтесь, Юрий Тимофеевич, скорее всего какая-нибудь консультация. До свидания.

– Да я и не волнуюсь, – сказал озадаченный отец по инерции, потому что на том конце уже положили трубку.

Не успел отец поговорить, как раздался еще один звонок. Звонил предгорисполкома.

– Ты чего там натворил, Юрий Тимофеевич? – раздался веселый голос начальника.

– Да ничего не натворил, Тихон Матвеевич.

– А чего вызывают?

– Представления не имею.

– Ладно, если вернешься, расскажешь, – хохотнул Тихон Матвеевич.

– Ну и шутки у тебя, Тихон Матвеевич, – сказал недовольно отец.

Пропуск отцу был заказан. У проходной его встретил офицер. Они поднялись на второй этаж, вошли в одну из дверей, и отец оказался в приемной.

– Товарищ Анохин доставлен, – сдал отца офицер на руки секретарше.

Секретарша, строгая опрятная женщина лет сорока пяти сняла трубку одного из телефонов и сказала:

– Товарищ Анохин здесь, Фаддей Семенович. Потом кивнула отцу на дверь.

– Товарищ генерал ждет вас. Пройдите.

Отец вошел в огромный кабинет и остановился в дверях. За двухтумбовым письменным столом сидел сухощавый человек в штатском. Он встал, когда отец вошел, но остался стоять за столом, поздоровался и жестом пригласил отца пройти.

– Здравствуйте, Юрий Тимофеевич, проходите, садитесь.

Отец, стараясь не показывать своего волнения, не торопясь прошел по ковровой дорожке, пожал протянутую руку и мельком оглядел кабинет. К письменному столу примыкали буквой «Т» столы, составляя несуразно длинную ножку. По стенкам кабинета стояли в ряд стулья. Справа от письменного стола у стены располагались два мягких кресла и маленький низкий столик, слева несколько шкафов с книгами. Отец отметил, что это были полные собрания сочинений Ленина и Сталина, еще какие-то книги. Письменный стол был заделан зеленым сукном. На стене висел большой портрет Дзержинского в профиль, а на высокой тумбочке, застеленной красным, стоял бюст Сталина.

Строгая секретарша принесла на подносе два стакана чаю в ажурных подстаканниках и печенье.

– Спасибо, Таня, – поблагодарил хозяин кабинета. – Поставьте на тот столик. – Вы свободны. Ко мне пока никого не впускать.

– Юрий Тимофеевич, давайте присядем в кресла, так будет удобнее.

Генерал снова встал. Был он выше отца, но в плечах не широк и такой же худой.

– Может быть, коньяку? – он вопросительно посмотрел на отца.

– Спасибо, нет, – благоразумно отказался отец.

– Тогда давайте пить чай и к делу.

Генерал помешал чай, стараясь не звенеть ложкой.

– Вы до вашего ранения находились в Тегеране?

– Да, по заданию ЦК, – счел нужным пояснить отец.

– Кстати, как сейчас ваше здоровье?

– Откровенно говоря, не очень. Голова дает знать себя.

– Значит сапожник без сапог, – улыбнулся генерал.

– Почему без сапог? – не понял отец.

– Ну, я слышал, ваш сын творит чудеса. Вот вашего родственника, говорят, вылечил.

– Чудес, товарищ генерал, не бывает. В природе все подчинено определенным законам.

Я материалист.

Отец про себя ругнул дядю Павла за болтливый язык. Небось нагородил бог весть что, – с досадой подумал отец.

– Да, к сожалению, чудес не бывает, – согласился генерал. – Но всё же сын ваш как-то лечит?

– Понимаете, товарищ генерал...

– Фаддей Семенович.

– Понимаете, Фаддей Семенович, к нашему огорчению или к счастью, сейчас я уже и не знаю, природа одарила моего сына определенными способностями. Его особая энергия благоприятно воздействует на пораженные очаги, быстро заживляет раны, снимает болевые ощущения. Вот вы говорите, сапожник без сапог, а ведь если бы не сын, вопрос, сидел ли бы я сейчас перед вами. Но, повторяю, никакого чуда здесь нет. Я пытаюсь понять природу этого явления и нахожу массу примеров в научной литературе исцеления методом наложения рук, хотя четкого объяснения этому нет, есть только попытки объяснить.

– Лично меня вполне устраивает ваша позиция. Честно говоря, прежде чем решиться на этот разговор, я покопался в вашем досье, простите за такую откровенность. Здесь мы неисправимы, работа такая, – улыбнулся Фаддей Семенович, заглядывая в глаза отца. Улыбка у него была жесткая, взгляд тяжелый. Глаза его ощупывали собеседника, изучали, сверлили, пытались пролезть в самую душу, и держали в напряжении.

– Мне скрывать, Фаддей Семенович, нечего. Моя анкета чиста.

– Знаю, Юрий Тимофеевич. Но часто чистая анкета еще ни о чем не говорит. Чтобы понять человека, лучше с ним поговорить, правда, еще лучше с ним пуд соли съесть, – генерал снова улыбнулся, но на этот раз улыбка вышла более приветливой, может быть потому, что чуть потеплели глаза.

– Я удовлетворен нашей беседой. Теперь суть, – Фаддей Семенович чуть помедлил, словно еще раз взвешивая, стоит ли собеседник его откровения, и продолжал:

– У меня есть дочь. Она больна. Мы испробовали кажется все, что только можно. Ничего не помогает. Она проходила курс лечения в лучших санаториях, ее смотрели хорошие врачи. Какие-то улучшения наблюдались, но потом становилось еще хуже. А сейчас у нас просто опустились руки. Жена тайком от меня возила её к каким-то знахарям. По этому поводу у нас с ней был тяжелый разговор. И вот она узнает от моего шофера о каком-то чудесном исцелении одного из наших сотрудников...

– Да не было никакого чудесного исцеления, – запротестовал отец, – просто сын ускорил заживление каких-то остаточных явлений после ранений, как-то мобилизовав естественные иммунные силы организма.

– Я в этом не сомневаюсь. Но я устал спорить с женой. Это, как вы понимаете, занятие бессмысленное. Я знаю, что все это бесполезная затея. Но пусть моя супруга сама убедится в этом, иначе всю оставшуюся жизнь мне придется жить на вулкане.

Генерал сделал паузу, чтобы в очередной раз просверлить отца взглядом и попросил, как приказал:

– Надеюсь, вы не откажете мне в просьбе. Вам удобно будет, если я пришлю за вами машину в воскресенье? Лучше утром. Скажем, часикам к десяти.

– Как я понимаю, у вашей дочери душевная болезнь? – осторожно спросил отец, не ответив на просьбу генерала, хотя, что там отвечать, если все уже было и без него решено!

– Моя дочь умственно нормальный человек. В школе она хорошо учится. Перешла в девятый класс, но теперь врачи советуют пока оставить школу. Она все больше становится раздражительной, злобной, стала сторониться людей, и её мучают головные боли, все чаще одолевают приступы меланхолии. Врачи предполагают, что это возможно результат родовой травмы.

Отец покачал головой:

– Но вы же понимаете, что это несерьёзно. Чем же мой сын здесь может помочь?

– Это мы с вами понимаем, а вот жена ничего слушать не хочет. Говорят же, что надежда умирает последней.

Генерал посмотрел на часы и встал, давая понять, что разговор окончен. Попрощавшись с отцом за руку, он не проводил его, а пошел за свой письменный стол. Когда отец был уже у дверей, генерал окликнул его:

– Юрий Тимофеевич, надеюсь, вы понимаете, что наш разговор сугубо конфиденциальный, и знать о нем не обязательно ни вашему начальству, ни кому бы то ни было? И дома поговорите об этом с женой и сыном.

– Несомненно, – заверил отец.

На работу в этот день отец не пошел. Он позвонил начальнику и сказал, что неважно себя чувствует.

– Да уж понимаю, – согласился Тихон Матвеевич. – Кто ж будет хорошо себя чувствовать после такого приглашения. Так чего вызывали-то?

– Да ерунда. Действительно просили проконсультировать по политическим аспектам жизни Ирана тех лет.

– А-а, ну давай, Тимофеич, отдыхай, – разочаровался Тихон Матвеевич.

– Придется ехать, сынок! – заключил отец, и было видно, что он очень расстроен.

– Ладно, пап, съездим. Ты только не переживай, – попытался я его успокоить.

К вечеру у отца случился приступ. Приступ был не сильный, я быстро справился с ним и погрузил отца в глубокий сон, после которого он обычно просыпался в более-менее нормальном состоянии.

Я тоже лег спать, долго лежал с открытыми глазами, думал об отце и переживал за него, и о больной девушке, к которой нам придется ехать, и сам не заметил, как вошел в то особое состояние, которое случалось со мной часто без моего участия. Иногда меня погружали в него какие-нибудь ритмичные звуки, которые вызывали музыку, и эта музыка звучала только в моем сознании. Музыка была всегда необычна, она была во мне, и она была вокруг меня. В какой-то момент я начинал физически ощущать её. Она обволакивала мое сознание, парализуя мою волю, и давала ощущение покоя и счастья. И я осознавал, что именно эта музыка уносила меня в неведомые миры, где все причудливо и странно. Музыка начинала вибрацией пронизывать мое тело и вызывала ответные вибрации. И я сам становился музыкой.

Сначала вибрация исходит из рук и ног. От них к центру тела, словно струится, энергия. Когда она достигает головы, в сознании появляются образы. Я вижу себя со стороны. Нет страха и боли. Иногда вокруг меня пляшет белое пламя. Это холодное, приятное пламя. Оно проникает в меня тогда, когда во мне сидит боль, и сжигает все нездоровое, дурное, что накопилось в теле и душе. Я чувствую, что во мне идет целительный процесс небывалой силы. Кажется, потоки энергии и огня наполняют и захлестывают мое тело. И тогда мне хочется плакать. По лицу текут слезы. Они не вызывают чувство горечи или стыда, я ощущаю радость...

На этот раз я испытал совершенно невероятные ощущения, которые раньше никогда не испытывал.

Огненные потоки вдруг сместились в область таза. Они вихрем раскручивались, и, казалось, во мне тоже рождается вихрь. В его центре начались сильные вибрации и судороги. Я почувствовал чудовищное напряжение и боль в нижней части живота. Хотелось закричать о помощи, но челюсти тоже были сведены судорогой. Я не мог даже вздохнуть. Неожиданно мышцы расслабились, я ощутил блаженную легкость, почти невесомость. Потом начались произвольные движения. Тело то прогибалось назад, то скрючивалось. При этом я выпячивал и втягивал живот. В нем опять появились напряжение и боль.

Когда это повторилось несколько раз, я, к своему ужасу, понял, что рожаю, а эти периодические судороги то, что у женщин называется схватками.

Я ожидал пережить все, что угодно, но не это. Но самое неожиданное даже не то, что я переживал роды, а то, что мне были знакомы эти ощущения, мое тело помнило их...

В воскресенье, к десяти часам я, чистый и причесанный, в белой рубашке и куртке, подаренной дядей Павлом, сидел на диване в ожидании машины. Мать все наставляла меня, как надо вести себя в культурном доме, а отец молчал и нервно барабанил пальцами по столу.

– Вова, не вздумай там ничего трогать руками. Не глазами по сторонам. Спросят – отвечай. И очень-то себя не показывай. Больше молчи, мол, иногда могу помочь, если там голова или зубы, а больше ничего.

Мать тараторила без умолку. Наверно, это у нее тоже было нервное.

– Да ладно, мам, я все понял, – кивал я головой, особенно не вникая в смысл ее слов. Меня больше занимало, на какой машине мы поедем.

В десять часов ровно мы услышали автомобильный сигнал, и вышли с отцом к машине. Во дворе стояла черная «Эмка». Шофер открыл дверцу, и я запрыгнул на заднее сидение. Отец узнал шофера, поздоровался с ним, как со старым знакомым, и сел рядом с ним на переднее сидение.

– Вы назад нас привезете?

– Не беспокойтесь, приказано доставить, – ответил шофер.

Мы подъехали к небольшому двухэтажному каменному особняку где-то в районе Купеческого гнезда. Возле дома ходил милиционер, а чуть поодаль остановился и, не выказывая

особого беспокойства, смотрел на нас человек в штатском. Шофер приветственно махнул ему рукой, поздоровался за руку с милиционером, что-то сказал ему, тот отдал нам честь, и мы пошли к парадному входу, с высокими, как у прокурорского дома, каменными ступеньками.

На звонок вышла миловидная пожилая женщина. Она оставила нас в прихожей и ушла в комнаты. Я принялся рассматривать прихожую, которая была не меньше всей нашей квартиры. На красивой резной тумбочке необычного красноватого цвета, на кружевной салфетке стоял телефон, а возле – низкие мягкие табуреточки круглой формы. Дальше – большое, во весь рост, трюмо на подставке такого же цвета, как тумбочка под телефон. На противоположной стене висела картина в широкой золоченой рамке с видом на природу и водяной мельницей. С мельничного колеса падала вода, настолько живая, что в какой-то момент я услышал шум от ее падения и скрип мельничного колеса.

Поглощенный созерцанием картины, я не заметил, как в прихожую вплыла роскошная дама, еще довольно молодая, и, пожалуй, красивая, если бы не двойной подбородок, так некстати прилепившийся к лицу. Красивый шелковый халат, расшитый павлинами, не скрывал полноты, а пояс, завязанный узлом спереди, только подчеркивал эту полноту.

– Кира Валериановна, мне ждать или можно отлучиться? – спросил шофер.

– Жди, Гриша! – чуть поколебавшись, решила хозяйка, и шофер пошел к машине.

– Проходите в зал, – пригласила нас Кира Валериановна. – Варя, – крикнула она куда-то в комнаты. – Дай гостям тапочки.

Мы пошли в зал. Вот это был зал. Высокие лепные потолки. Стелянный шкаф с хрустальной посудой. Потом мать мне объяснила, что это называется «горка». Овальный стол и красивые стулья с высокими спинками вокруг, диван и кресла, обтянутые красным бархатом. Тяжелые бархатные шторы и такие же занавеси на двухстворчатых дверях. Почти во всю комнату – мягкий ковер на полу. На стене тоже висел ковер с ярким рисунком. Но больше всего меня поразил рояль. Прокурорская семья считалась богатой, но у них было пианино. А здесь рояль. Я всегда думал, что рояли бывают только в концертных залах.

Кира Валериановна усадила нас на диван, а сама села в кресло.

– Меня зовут, вы уже слышали, Кира Валериановна, – хозяйка улыбнулась, но улыбка вышла вымученной. Видно было, что она нервничает. Отец представился и представил меня.

– Я почему-то думала, вы старше, – сказала Кира Валериановна, задерживая на мне взгляд. – И вы умеете лечить?

– Кира Валериановна, я уже говорил вашему мужу, что энергия моего сына может ускорить заживление раны, снять болевые ощущения, но сила этого воздействия не безгранична. Чудес, Кира Валериановна, не бывает.

– Но, говорят, он кого-то вылечил. Может быть, он и мою дочь сумеет вылечить?

В ней все же жила надежда на чудо, и она вряд ли поверила словам отца.

– Вам, наверно, нужно знать историю болезни моей дочери?

– Это лишнее, Кира Валериановна, – мягко сказал отец. – Володе это не поможет. Все, что нужно увидеть, поверьте, он увидит.

– Тогда я сейчас приглашу дочь,

Кира Валериановна ушла и вскоре вернулась с дочерью. Это была очень красивая девушка, с толстыми темно русыми косами, круглым лицом и карими глазами,

Лицом она походила на мать, но глаза, скорее всего, унаследовала от отца, потому что у матери глаза были серые. Я сразу отметил бледность девушки и беспокойный, настороженный взгляд.

– Моя дочь Мила.

– Здравствуйте, – буркнула Мила, и глаза ее уставились на меня.

– Это ты, что ли лечить меня будешь? – с усмешкой сказала она.

– Мила! – укоризненно покачала головой Кира Валериановна.

– Что, Мила? – глаза девочки зло сверкнули, а лицо пошло красными пятнами. – Ты знахарям веришь больше, чем врачам, а я комсомолка.

Я обратил внимание на свечение вокруг ее головы. Цвета плясали прямо каким-то пожаром. Голубого цвета почти не было видно. Красные сгустки просто пульсировали в нескольких местах. Несомненно, Мила была очень больна.

– У тебя голова болит? – спросил я.

– А тебе-то что? – огрызнулась Мила. – Можешь вылечить? – Она зло усмехнулась,

– Голову могу. Хочешь?

– Обойдусь.

Я разозлился.

– Мила, – вышла из себя мама. – Как ты себя ведешь? – Соблюдай хоть некоторые приличия.

– Подождите, Кира Валериановна, – остановил я мать Милы. Голос мой прозвучал неожиданно резко, и обе, мать и дочь, посмотрели на меня с удивлением, но теперь меня ничто не могло остановить. Я встал, подошел к креслу, где сидела Мила. Она съежилась, будто от удара, и вдруг неестественно выпрямилась и застыла, глаза ее потускнели.

Она извинится, – сказал я, глядя на девушку и мысленно повторяя приказание. Мила встала, подошла и сказала ровным голосом:

– Простите меня, я больше не буду.

– Володя, что еще за фокусы? – строго посмотрел на меня отец. А Кира Валериановна хлопала глазами как сова, хотела что-то сказать, открыла рот и тут же закрыла его.

– Пап, она должна мне поверить, а она издевается, – шепотом оказал я отцу. – Сейчас я сниму головную боль и верну Милу назад.

Я стал водить руками в той зоне, где собирались темно-красные сгустки. Их было больше у лобной части. Через несколько минут сгустки посветлели. Весь нимб вокруг головы чуть позеленел. Это от тепла. Когда я отниму руки, он станет голубовато-синим, сгустки останутся, как и в свечении вокруг головы отца, но они на время как бы растворятся в естественном мерцании голубоватого оттенка.

Мысленно внушив девушке хорошее настроение, я вернул ее к нормальному состоянию.

– Что случилось? – Мила растерянно смотрела на нас.

Наверно, мы все слишком откровенно уставились на нее. Отец молчал, Кира Валериановна пребывала в легком шоке, а я сказал:

– Ничего. Голова болит?

– Нет, – ответила Мила и на всякий случай потрясла головой, потом как-то виновато улыбнулась.

– Мила! – прошептала, Кира Валериановна. – Я глазам своим не верю!.. А знаешь, что ты сейчас сделала?

– Что? – испугалась Мила,

– Ты попросила прощения.

– Это правда? – спросила она у моего отца.

Отец пожал плечами.

– Но я ничего не помню, – заволновалась Мила. – Это ты? – Она почему-то с ужасом смотрела на меня.

– Не обижайся. Простой гипноз, – буркнул я.

– Вы посмотрите, у нее даже румянец появился, – наконец обрела дар речи Кира Валериановна. – Спасибо, Володя. Я даже не знаю, как вас благодарить. Знаете что? Пойдемте чай пить.

– Нет-нет! Спасибо, Кира Валериановна, не беспокойтесь. Как-нибудь в другой раз.

Кира Валериановна не стала настаивать, но пока мы в прихожей возились с ботинками, завязывая шнурки, она ушла и вернулась с большой коробкой конфет. Как отец ни отказывался, она всунула конфеты мне в руки со словами «Вы нас с Милочкой обидите, если не возьмете». И тут же спросила:

– А когда вы продолжите лечение, Володя? Я же понимаю, что не все так просто.

– Кира Валериановна, давайте посмотрим, как ваша дочь будет себя чувствовать дальше, и тогда решим, – без энтузиазма ответил за меня отец. Я видел, что ему очень не хочется снова возвращаться в этот дом. В машине мы молчали, а дома отец отругал меня за гипноз.

– Не было никакой необходимости делать это. Я тебе сколько раз говорил, поменьше показывай то, что умеешь. Кроме вреда это ничего не принесет.

Я понимал, что отцу нужно выговориться, чтобы снять напряжение, но вместо того, чтобы промолчать, я упрямо возразил:

– Зато ты видел? Сразу как шелковая стала. А то строит из себя... Хотят, чтобы я лечил, пусть знают, что я что-то умею...

– Ты понимаешь, у Киры Валериановны подруги, она начнет рассказывать. Пойдут разговоры.

– Ладно, пап, – мягко сказал я. – Она все равно расскажет. Не про гипноз, так про лечение.

– Хорошо, оставим это, – устало заключил отец. – Все же девушке ты помог. И это хорошо.

– Пап, да у нее сегодня к вечеру или завтра голова опять начнет болеть, ее руками не вылечишь, даже если они будут излучать энергию в сто раз сильнее моей.

– Прискорбно, но ты же не господь бог!

– Пап, ее нужно ввести в особое состояние, в котором бываю я.

– Ты это серьезно? – испугался отец, и у него даже брови поползли вверх.

– Да, пап, я знаю, что нужно сделать, так.

Я видел, что эта моя затея отцу не нравится, и поспешил успокоить его.

– Хуже-то точно не будет. Я, по крайней мере, всегда после этого чувствую себя свежим и бодрым, будто хорошо выспался.

– Ну, попробуй, – неохотно согласился отец. – Если это твое внутреннее ощущение...

– Пап, ты же не хочешь, чтобы я бегал к ним каждый день лечить ей голову. Если получится, все разом кончится. А потом, от Милы ведь все отказались, поэтому нужно попробовать.

Глава 11 Скандал в доме дяди Павла и воспоминания о возвращении домой. Переезд бабушки к дяде Павлу

Семейная жизнь дяди Павла не заладилась...

По разговорам бабушки с матерью, во время которых бабушка плакала, а мать только качала головой, жалея брата, и потом пересказывала отцу эти разговоры, осуждая Варвару и возмущаясь ее бессовесностью, я живо представлял, что происходило у дяди Павла в доме, и понимал, что бабушка пошла жить к нему с наивной верой в то, что Варвару смягчит и остепенит ее постороннее присутствие.

В разговорах с отцом Павел часто возвращался к войне, которая была для него более привычна, чем вялотекущая жизнь послевоенных дней, к которым он никак не мог приспособиться, и я «видел», а может быть в моей памяти так прочно сидели рассказы Павла о войне, однополчанах и о его возвращении в мирную жизнь, которой жил город, где волей судьбы оказались его близкие, что мне и не нужно было «видеть», потому что я знал...

После очередного скандала, короткого и жесткого, Павел едва сдержался, чтобы не ударить Варвару. Как в тумане пошел к вешалке, взял кепку и вышел, хлопнув дверью. Зло и обида душили Павла, пальцы дрожали, когда он скручивал сигарку. Закурил, затягиваясь глубоко и судорожно, и все никак не мог успокоиться.

Он задержался на работе, пришел голодный и уставший. Дома было холодно, печка не топилась. Варвара сидела на кровати, не зажигая света, и ждала Павла.

– Ты чего в темноте сидишь? – спросил Павел и включил свет.

Варвара промолчала. Павел повесил кепку на вешалку и попросил:

– Поесть нечего?

– Посмотри, – не вставая с места, зло сказала Варвара.

Павел подошел к подоконнику и заглянул в кастрюлю, где, застыв желтыми льдинками, стоял свекольник, сваренный вчера Павлом.

– Неужели не могла хотя бы разогреть? – громыхнул крышкой Павел.

– Сам разогрей, если печку растопишь!

– А у тебя что, руки не оттуда растут? – рассвирепел Павел, – Ты что, профессорская дочка? Ишь, фрау мадам... Это ж твое, бабье, дело. Уголь принесен, дрова на растопку есть. Ну ладно, не умеешь чего-то, так ты же и научиться не хочешь!

– Чему надо, тому научилась, – не тая злой усмешки, огрызнулась Варвара. – Я к тебе в прислужницы не нанималась. Не для того замуж выходила, чтоб тебе жратву готовить.

– А для чего ж ты выходила? – изумился Павел.

– А я думала, что на руках носить будешь, – с издевкой сказала Варвара. – А то на что ты мне рыжий недомерок сдался! Там у меня не чета тебе были.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.